

Содержание

1. О том, как трудно бывает взяться за книгу, о Каспийском пароходстве, турецких корнях и тёте Шуре, не выполнившей рекомендации врачей	9
2. Об алкогольном дебюте, причудах памяти, традициях Севера, а также о том, как ненавидели Григория Александрова его знаменитые коллеги	18
3. О первой и последней кличке, путешествии в Астрахань, уличных методах воспитания, настоящей ухе, тайной организации и пистолете под подушкой.	27
4. О тайных сторонах подростковой жизни, появлении в классе новенького и девушке, похожей на актрису из «Весны на Заречной улице»	38
5. Об отношениях с противоположным полом, песнях Ива Монтана, несостоявшейся карьере военного, а также о том, как опасно бывает ввязываться в идейные споры	56
6. О том, как формируется общественное мнение, о съёмках в массовке, причинах, не позволивших пойти в армию, и астраханской театральной студии	68
7. О бегстве в Воркуту, планах обуздать природные стихии, шахтёрских буднях, последствиях романа с замужней и романтической мужской дружбе.	77
8. О погружении на дно морское, об истории, которая до сих пор вызывает чувство вины, спасительной «Мухе-Цокотухе» и о том, как нельзя писать сочинения	92
9. О том, почему необходимо мечтать, ощущении собственного потолка, судьбе Эвариста Галуа, системе Станиславского и гениальном Ленине, создавшем великую партию	101
10. О великом артисте, которому подражали корифеи, знаменитых однокурсниках, этюде с гвоздём, мхатовских стариках, строгом нраве Солженицына и мрачных мыслях	113
11. Об особой ленинградской породе, проблеме выбора койки в общежитии, отсутствии страха потерять лицо, дендизме, садизме и сексуальном скандале	121
12. О том, как кино заставляет человека идти на авантюры, трёхгранном железнодорожном ключе, преодолении трёхтысячника и привычке к осёдлости	134

13. О том, как выбирали комсорга, о неумении выигрывать любой ценой, отношениях с Евгенией Морес и подслушанном через отдушину разговоре	141
14. О том, к чему привела подготовка к экзаменам, о газетке вместо скатерти, Вериной семье и утраченном чувстве справедливости ...	149
15. О пятилитровой кастрюле, свадебном путешествии в общем вагоне, Питере Бруке, Анне Маньяни и о том, как можно использовать красивую девушку	159
16. О том, как Ромм отправил театр на свалку истории, шеститомнике Эйзенштейна и причинах, по которым не стоит млеть, когда встречаешься со знаменитостью	168
17. О том, чему научила Вера, о ритуалах любви, органике, простом человеческом счастье, знакомстве с Высоцким и судьбоносной встрече на улице Горького.	175
18. О знаменитом выступлении Ромма, буднях Ставропольского театра, первом опыте театральной режиссуры, добрых телефонистках и ещё об одном чуде из целого ряда чудес.	188
19. О нелегальном положении, незавидной судьбе аспиранта, научной полемике с Роммом и первых шагах на диссидентском поприще	206
20. О Гольдберге, Фириюбине, неожиданном предложении свергнуть существующий строй, гениальном рассказчике Ромме и его великом педагогическом даре	217
21. О диалектике восприятия искусства, львиных когтях, уроках от Бунюэля, неприглядных эпизодах из жизни классиков и прозорливости Всеволода Кочетова.	225
22. О диссидентских мотивах в квантовой физике, экзистенциализме, границах компромисса, письме Брежневу, встрече с Валеј Рабинович и фильме к юбилею ВГИКа	234
23. О том, как пришлось уговаривать Катаева, о неосуществлённой роли Михалкова, странном предложении Шурика и консервативной идеологической машине Советской Украины ...	249
24. О сценарном ремесле, потере рукописи, попытке поделить гонорар по-честному, «Ленфильме» 70-х и неожиданно обрушившейся критике	271
25. О неожиданном расставании с Верой, сложной судьбе Алексея Сахарова, героях Черныха, съёмках у Бориса Бунеева и особом даре спасать чужие фильмы.	304
26. О первой поездке за границу, разговоре с Сизовым, запрете на музыкальные фильмы, двух сорежиссёрах и директоре-интригане	315

27. О том, как пригодилась заветная тетрадь, о неожиданном внимании народной артистки СССР, пробах, ставших легендой, вкусных обедах Зиновия Гердта и формальных приёмах в кинематографе	324
28. О методе Карасика, чарах Прокловой, поезде, проезжающем мимо Орла, потрясённой Юле, смелости отрезать по живому и Лунгине, не ставшем охранной грамотой	333
29. О грузинских застольях, пользе от навязчивых поклонниц, третейском суде Кучинском, счастливой цифре «44», мятом паре и трудностях при расчёте постановочных	342
30. Об актрисах на роль Кати Тихомировой, смелости Муравьёвой, о страшнейших, но талантливых, красивых, но бездарных и Вячеславе Тихонове, который ничего просто так не делает	353
31. О том, как искали Гошу, о перфекционисте Никитине, о тех, кто стеснялся фильма, актрисе Алентовой, ставшей черноглазой и темноволосой, и предложении вырезать одну их сцен	360
32. О новомодных веяниях в режиссуре, панических состояниях, старой директорской школе, принципах Алексея Германа и одинаковых причёсках Кати и Людмилы	369
33. О том, за что режиссёры любят монтаж, о музыке Никитина, похожей на музыку Колмановского, посторонних шумах, реакции Гришина и зрелище, увиденном на Пушкинской площади	376
34. О том, чем обернулся «большой успех», о новом хобби, судьбе Гайдая, культуре личности Тарковского и Льве Толстом, описавшем ещё в конце XIX века, что такое «элитарное искусство»	385
35. О рекордном кассовом сборе, возмущённом Юлии Райзмане, плевке в лицо и пребывании в одном списке с Акирой Куросавой и Франсуа Трюффо	399
36. О том, как удержать внимание зрителя, о волшебной булабочке, о тех, кто формирует репутацию художника и чужом празднике жизни, куда не стоит стремиться	411
37. О том, как поменять пробитое колесо, о Филиппе Денисовиче Бобкове, поездке в стрип-клуб, женщине, слетевшей с резьбы, и кризисе советской дипломатии	417
38. О том, с чего начинался фильм «Любовь и голуби», знакомстве с Гуркиным, встрече, навеявшей образ Раисы Захаровны, рекомендациях Олега Табакова и грустной пасторали 80-х	428

39. О том, кого пробовали на роли Васи, Нади и Раисы Захаровны, о воспоминаниях Гурченко, грибном рае и народе, который выигрывает войны	439
40. О том, как расцветали цветы на деревьях, о несчастном Петре Тодоровском, неводе, заброшенном Людмилой Гурченко, и Ленинском субботнике на «Мосфильме»	452
41. О попытке всё свалить на худсовет, странной позиции Сахарова, возмущённом Воротникове, шести кружках пива и параллелях с Кустурицей	462
42. О том, как трудно было уговорить Вячеслава Кондратьева, о языческом мировоззрении, перестроечной эйфории и судьбоносном V съезде кинематографистов	469
43. О политических взглядах Горбачёва, приборчике, который носил с собой Бондарчук, встрече с Ельциным, знакомстве с Мишель Пфайффер и планах поработать с Мастроянни	478
44. О новом худсовете, толпе на Пушкинской площади, убеждениях Святослава Фёдорова, хитростях Егора Яковлева и статье Нины Андреевой	488
45. О бурной политической жизни, выборах 1993 года, о замысле «Ширли-мырли», поисках артиста на роль Кроликова, клиповом монтаже и отложенной славе	501
46. О том, как работалось с Володией Кучинским, о профессии второго режиссёра, странном поведении старого товарища, а также о том, что хранилось на верхней полке шкафа	514
47. О белых пятнах биографии, постмодернизме, лучших ролях Веры Алентовой, французском акценте Лобозкокого, исторической неизбежности и абсолютной свободе	522
Послесловие от Веры Алентовой	539

1

О том, как трудно бывает взяться за книгу, о Каспийском пароходстве, турецких корнях и тёте Шуре, не выполнившей рекомендации врачей

Начать можно с очереди в кинотеатр «Россия», заполнившей всю Пушкинскую площадь. Как описал один из зрителей свои впечатления февраля 1980 года: последним за билетом на фильм «Москва слезам не верит» стоял сам Александр Сергеевич. Начать можно с того, как я, ошарашенный успехом, незаметно прохожу в зал, прислушиваясь к реакции зрителей: неужели смеются, неужели плачут? Подобная экспозиция была бы в духе времени. Видимо, это у нас прижилась западная манера нарушать хронологию — выхватывать эпизод из середины или даже финала повествования, а потом возвращаться к началу жизни героя. От следствия, так сказать, к причине. По этой схеме должно получиться нечто вроде: «Глядя на бесконечную очередь в кассу кинотеатра, я размышлял, как же мне удалось снять такую картину? Как я стал победителем?» И за ответом на этот вопрос нырнуть вместе с читателем в глубину веков.

Есть и ещё один штамп, притягательный, впрочем, своим простодушием. Когда-то Пушкин помог начать мемуары Щепкину, робеющему перед чистым листом бумаги, — написал за него первые строки: «Я родился в Курской губернии Обоянского уезда, в селе Красном, что на реке Пенке...» И передал перо Михаилу Семёновичу, который уже самостоятельно продолжил работу над ставшими впоследствии знаменитыми «Записками актёра».

Однако я, оглядываясь в прошлое, выйду, пожалуй, за границы собственного биологического существования и предложу сюжет с романтическим колоритом морского путешествия. Слышится крик чаек, плещутся волны за бортом теплохода, идущего по маршруту Баку — Пехлеви. 30-е годы прошлого столетия, заграничный рейс из Советского Союза в Иран, комфортабельное судно, и на нём нас интересует первый помощник капитана — благородной внешности и туманной биографии. Знаем только, что он был женат на местной бакинской немке, не так давно овдовел, а сейчас проявляет интерес к персоне определённо не своего круга — горничной, с которой они по графику Каспийского пароходства выходят в рейс, и всякому ясно, что он — фигура, а она — так, подай-принеси. Однако совсем уж необъяснимым увлечение импозантного моряка не назовёшь, ведь за женщиной из obsługi ухаживает ещё и старший механик, настойчиво предлагающий Тосе, а именно так зовут горничную, выйти за него.

Внимание первого помощника воспринималось Тосей не всерьёз ещё и потому, что она была старше на семь лет. Кандидатура стармеха выглядела с точки зрения здравого смысла предпочтительнее, но однажды получилось так, что Тосе понадобилось по какой-то причине остаться на берегу, теплоход уходил в рейс вместе с двумя её поклонниками, но тут один из них проявил коварство и под надуманным предлогом в последний момент тоже сошёл на берег.

Короче говоря, покуда имевший серьёзные намерения старший механик в очередной раз двигался в сторону иранского порта Пехлеви, мой отец, Валентин Михайлович Меньшов, добился своего, взял штурмом доселе неприступную крепость, в результате чего моя мама, Антонина Александровна Дубовская, и родила 17 сентября 1939 года сына Владимира.

Продолжение романа оказалось не столь романтическим, как завязка на фоне морского пейзажа. Такой союз в былые времена назвали бы мезальянсом: на отношениях не могло не сказаться, что муж — человек с положением, а жена все-

го-то с двумя классами церковно-приходской школы. Мама, по существу, была малограмотной женщиной, всю жизнь писала с ошибками и читала газеты по слогам. И это на фоне отца, славящегося своей грамотностью и каллиграфическим почерком. Отец — селфмейдмен, сам себя сделал, хотя, конечно, если бы не мощь советского государства, неизвестно ещё, как сложилась бы его судьба. Свою семью он вспоминать не любил. Судя по нескольким обронённым фразам, отец был пьющим, бросил их с матерью и братом, уехал в Царицын. Но ведь удалось выкарабкаться: оба парня закончили Астраханское мореходное училище, получили профессию. Отец мой дослужился до первого помощника капитана и не на каком-нибудь буксире — на серьёзном пассажирском судне, которое даже иранского шаха принимало на своём борту. У меня нет сомнений, что отец сделал бы весьма успешную карьеру на флоте, но незадолго до моего рождения, летом 1939 года, он получил предложение поступить на службу в НКВД. Пришёл домой взволнованный, сообщил жене, но не для того, чтоб посоветоваться — от таких предложений не отказываются, — а скорее делился переживаниями.

Наступило время, когда после ареста и расстрела Ежова ведомство обновлялось, массово набирали сотрудников, открывалась новая страница в истории легендарной спецслужбы. Теперь многие судят о той эпохе, представляя её чем-то единым, незыблемым, а ведь и в партии, и в НКВД, и в Министерстве обороны — вообще во власти были разные этапы, и не учитывать этого обстоятельства, давая сегодня оценки советского прошлого, как минимум легкомысленно.

Это была честь — получить предложение влиться в ряды НКВД. К своей работе в органах отец относился с огромной ответственностью, и никогда дома ни слова не было сказано, чем именно он занимается. Только в 10-х годах XXI века я ознакомился с некоторыми деталями отцовской службы. В астраханском управлении ФСБ мне показали несколько архивных документов, которые, разумеется, не раскрывали

секретов оперативной работы, но хотя бы отчасти удовлетворили моё любопытство. Из прочитанного я понял, что одним из дел отца стало разоблачение бывшего полиция, что операция по выявлению предателя оказалась остроумной и изобретательной. Ещё я увидел объяснительные, в которых отец подробно отчитывался о многочисленных родственниках супруги. О своих родных информация была скудная — мать умерла до войны, брат погиб на фронте.

В 1939-м родился я, в 1941-м — моя сестра, вот так мы вчетвером и стали существовать. Мама довольно скоро задумалась: а не ошибка ли этот брак? Может, если бы пошла за стармеха, жизнь сложилась по-другому, ведь отец ей совершенно не пара...

И действительно, он даже внешне как будто из другого мира: красавец, но не смазливый, не слащавый, отмеченный неброской мужественной красотой. Блондин с рыжиной, белокожий, почти альбинос, по портретным данным вполне можно было шпионом в Германию засылать. Со своей альбиносной кожей сгорал на солнце моментально, уснул как-то на пляже и получил страшный ожог, мать его потом еле выходила, вымачивая в кефире. Умён, образован: по тем временам семилетка и мореходка как нынешний университет.

У мамы своя биография. Родилась в 1905 году в селе Чаган Астраханской губернии, семья многодетная: семь человек детей. Село — в дельте Волги, огромное, на тысячу дворов, отец был рыбаком, и вокруг этого промысла вся жизнь у них и вертелась: мужики уходили на лов, а потом ведь надо рыбу сохранить да побыстрее продать. Дети на подхвате, старший сын Николай Александрович, 1898 года рождения, — правая рука. Из сестёр старшая — Александра Александровна, тётя Шура, 1899 года. По рассказам, мама их, моя бабушка, была беленькая, светловолосая, а отец, мой дед, — тёмный, с грубыми чертами лица, видимо, из казаков.

Не так давно, увидев обо мне биографический сюжет по телевизору, на меня вышли родственники — потомки

одного из маминых братьев, дяди Миши (мама его потеряла ещё в 30-е годы). Они стали переписываться с моей сестрой и прислали фотографию — на ней вся семья, тогда принято было такие делать, специально фотографа приглашали. Маме там лет семь-восемь, а после мамы родились ещё младшие дети: тётя Вера, дядя Витя и дядя Лёша, которого я не видел никогда — он погиб на фронте. Вера с Тосей очень похожи, смуглые до неприличия, без всякого преувеличения — мулатки, а остальные (видимо, по другой линии) пошли беленькие. У нас, наверное, как в мелеховском роду из «Тихого Дона», где-то среди предков присутствует пленённая бабушка-турчанка — отсюда и смуглость у некоторых родственников проявляется.

Родились в этой большой семье два горбатеньких ребёнка: старшая сестра Шура и брат Витя. Говорить об этом было не принято. Вообще я обратил внимание: если случается несчастье, рождается ребёнок с неизлечимой болезнью, отклонениями в развитии, то срабатывает стандартный защитный механизм и тему начинают обходить стороной, а то и вовсе стараются не замечать очевидного. Я сталкивался с подобной психологической реакцией неоднократно, вот и в случае с Витей — настоящим горбуном, и с Шурой — не слишком, но всё-таки горбатенькой — в семье Дубовских та же реакция была: тема считалась если не запретной, то, во всяком случае, о ней старались не распространяться.

При советской власти мамину семью не раскулачили, хотя был у них дом, большое хозяйство: коровы, козы, лошади. Со всем этим нелегко управляться, но работали сами: семья большая и батраков нанимать не требовалось. Поэтому, как не причастных к эксплуатации, приписали их к середнякам, но, видимо, опасаясь раскулачивания, к тридцатым годам все из села разъехались — в основном поехали в Астрахань, выучились кто на кого, устроились кто куда. Происхождение своё скрывали, в биографиях писали, что из бедняков. Дом то ли бросили, то ли всё-таки удалось его продать, но в любом случае никого из нашего рода в Чагане не осталось. Дед мой доживал век в Астрахани, кажется,

где-то сторожем работал, дети с ним не общались. Не любили главу семейства за властность и грубость, доставалось от него всем, ходили даже разговоры, что именно на нём вина за смерть моей бабушки. Вроде как дед её ударил, да так, что она упала и несколько часов пролежала на леднике. Ледник — хитроумное подземное сооружение, куда зимой укладывали лёд и даже в астраханскую летнюю жару он не растаивал. Без такого холодильника в рыбацкой деревне не обойтись, улов не сохранить, и вот бабушка будто бы там сильно простыла. Правда, по другой версии, она умерла во время эпидемии «испанки» в 1919 году, а может быть, одно с другим как-то оказалось связано: и на леднике застудилась, и грипп этот страшный подхватила, от которого народу тогда умерло больше, чем погибло в Первую мировую.

Многое из пережитого мама пыталась мне рассказывать, но я слушал вполуха, думал: чего она пристаёт со своими воспоминаниями. Сейчас, конечно, относился бы по-другому, считал бесценными, уточнял детали. Лишь иногда в дальних уголках памяти наткнёшься вдруг на какой-нибудь образ из её рассказов, как, например, во время контрреволюционного восстания в Чагане красноармейцев со связанными руками под лёд заталкивали. Это сейчас, когда свидетелей не осталось, можно трезвонить о большевиках, которые расправлялись с несчастными, ни в чём не повинными крестьянами, выступившими против жестокой советской власти.

Ещё помню, мама рассказывала, что её очень рано выдали замуж за человека значительно старше и пришлось переезжать к нему в посёлок под Астраханью. О том периоде жизни, который она очень не любила, осталась фотография: мама на ней в жакетке, берете — очень узнаваемая женщина из 20-х годов.

Довольно скоро мама решила уйти от мужа, пошла в суд, ей предложили адвоката, но она сама взялась защищаться. Свою речь на суде пересказывала так: «Он меня взял не как жену, а как домработницу, а я не хочу быть в таком положении, хочу ещё жить, хочу пойти учиться...» Судья ей потом

говорил: «Ну, Дубовская, вы талант, вам в адвокаты надо идти...» Гораздо позже с чужих слов я узнал то, что родители детям обычно не рассказывают: у мамы, оказывается, была дочка от первого брака, Ниночка, но прожила очень недолго.

Мама моя была абсолютно советским человеком. Лучшей похвалой в её устах была характеристика «настоящий коммунист». И, что интересно, в пример она приводила отца. С уважением говорила, совершенно искренне, хотя жили они плохо, и отец её обижал. Да и она его тоже обижала.

Сестра Ира родилась 30 мая 1941 года — до войны оставалось меньше месяца. Тяготы Великой Отечественной нас коснулись не очень сильно: Баку бомбили мало, мы жили тогда в центре города — в крепости, откуда есть пошла бакинская земля. Сейчас, когда случается оказаться в Баку, прошу, чтоб именно туда, в крепость, меня и отвезли. Брожу по узким улочкам этого уникального места (знакового нашим зрителям по фильму «Бриллиантовая рука») и чувствую ностальгическое волнение, хотя чётких воспоминаний из детства у меня не осталось.

Задолго до войны, в 1921 году, между Советской Россией и Ираном был заключён договор, по которому мы имели право ввести войска на иранскую территорию в случае военной угрозы нашим южным рубежам. Но в 1941 году шах Ирана Реза Пехлеви отказал в этом Советскому Союзу, и тогда была проведена совместная операция союзников (Великобритании и СССР) по оккупации Ирана: необходимо было лишить Гитлера возможности захватить иранские нефтяные месторождения, к тому же требовалось обезопасить пути доставки военной помощи СССР по ленд-лизу.

Отца отправили в Иран, он был там, как я понимаю, нашим резидентом, работал под прикрытием на должности представителя Каспийского пароходства. Так что первые годы войны, самые тяжёлые, наша семья провела в относительном благополучии. Воспоминаний об Иране у меня, можно сказать, не осталось, лишь какие-то вспышки: едем мы куда-то, покачиваясь, в фаэтоне, и я прижимаюсь к маме.

Мать говорила, что страна была нищая, люди от голода и малярии умирали под заборами; выйдешь на улицу, а там к тебе руки тянутся за милостыней. Но я не думаю, что мама особо разбрасывалась деньгами: нужно было о семье думать, да к тому же она была деревенской закалки, сама прошла через серьёзные испытания, просто так её не разжалобишь.

В Иране, оказавшись в новой обстановке, но главное, думаю, от осознания безысходности своего семейного положения, отец завёл любовницу — работала с ним какая-то секретарша. Судя по маминому рассказу, на измену мужа она отреагировала без лишних церемоний: пошла бить стёкла разлучнице, написала письмо отцовскому начальству, чтобы сохранили семью. В общем, портили они друг другу жизнь вдохновенно, в средствах себя не ограничивая. Сколько себя помню, так они и жили, всё время выясняя отношения, проявляя недовольство, предъявляя претензии.

В Иране я подхватил малярию, единственным из семьи, и приступы этой болезни продолжались у меня лет до двадцати пяти. Начинались с лёгкой дрожи, потом по нарастающей — когда зубы уже стучат и становится невероятно холодно. Ложишься и тебя накрывают всем, что только найдётся в доме, потому что температура поднимается до сорока одного, почти до сорока двух, а после — толчком — кризис проходит, и можно всё с себя сбросить и какое-то время подышать свободно. Час лежишь весь в поту, блаженствуешь, а потом снова температура поднимается, и тащишь опять на себя одеяла. Кстати, именно малярия позволила мне понять, что высокая температура — это благо, а обывательская привычка её сбивать — категорически неверная тактика лечения. Потому что жар — это борьба жизни и смерти, способ сопротивления организма.

В Баку мы вернулись, когда война ещё не закончилась, и почти сразу я заболел воспалением лёгких — двухсторонним, крупозным. Совсем недавно узнал, что другое название этой болезни — отёк лёгких, а это всегда смертельный диагноз. Всё заработанное отцом в Иране ушло на моё лече-

ние, даже пришлось что-то продавать. Лучшим средством в те годы считался красный стрептоцид, но и его надо было достать. Ещё мать покупала на рынке продукты, рекомендованные врачами, а они дешёвое не посоветуют. Состояние было критическое, меня уже положили на операционный стол, но хирург подошёл к отцу, который сидел в коридоре и ждал окончания операции: «Как хотите, но я не возьмусь, уверен, что под скальпелем он умрёт». Отец ответил: «Ну хорошо, значит, будем полагаться на судьбу...»

Я остался в больнице, и со мной рядом на сдвинутых стульях спала моя тётушка – Шура, та самая старшая маминна сестра, горбатенькая. Святая женщина, настоящий ангел-хранитель нашей семьи и мой личный ангел-хранитель. Я был без сознания, и врачи её предупредили: «Следите, чтобы его не вырвало. Если будет тошнить, всячески подавляйте позывы, пить давайте ...» Она рассказывала потом: «Ты ночью проснулся, и прямо на постели тебя всего стало выворачивать. А я думаю: да бог с ним, только горшок подставила; и так полгоршка гноя с кровью из тебя вышло, и я смотрю: ты прямо на глазах стал розоветь...»

2

Об алкогольном дебюте, причудах памяти, традициях Севера, а также о том, как ненавидели Григория Александрова его знаменитые коллеги

Помню, что из больницы меня везли уже на новую квартиру, и она оказалась роскошной, двухкомнатной, просторной. Трёхэтажный дом с деревянной галереей по периметру, двор, который казался мне бесконечно огромным, правда, когда я попал туда взрослым, его масштаб значительно уменьшился. Во дворе кипела жизнь, играли в нарды, шахматы, домино, туда приходили попрошайки с нехитрыми музыкальными номерами. Обычная жизнь южного города, достаточно сытная по сравнению с остальной страной.

С этой квартирой связано у меня едва ли не первое ясное воспоминание, как справляют у нас новоселье, а я хожу вдоль стола и канючу: «Дай попробовать, папа, дай попробовать». Интересно ведь, что взрослые с таким увлечением и кряканьем пьют из таких красивых рюмок. Наконец отец не выдерживает: «Да на, отвяжись». Полагая, что я понюхаю, в крайнем случае пригублю и сразу выплуну горькое пойло. Но я маханул до дна все сто грамм и тут же рухнул. Когда проспался после первого своего алкогольного опыта, слышу: мать рыдает, с отцом скандал.

Родители без конца орали друг на друга, и я понимаю природу этих конфликтов: отец как в капкане был зажат семейными обстоятельствами, а мать — невозможностью что-то изменить: ну куда она денется теперь с двумя детьми, которых надо поднимать.

Мама была раздражена постоянно, отец тоже — придёт домой мрачный, молчит, пока снова не затеется очередная ссора. Скандалы между ними случались некрасивые, просто неприличные. Однажды у нас были какие-то гости, и родители прямо при них завелись. Мать предъявила свои дежурные претензии, отец ответил, она парировала: «Я же дом содержу в порядке!» И тут отец повёл гостей по квартире показывать им пыль на каких-то труднодоступных поверхностях: «А вот здесь, смотрите! Вот сюда гляньте...» И на пальцах у него следы остаются — доказательство плохой уборки. Людям неудобно, мать покраснела, и ему уже стыдно, что до такого опустился... Плохо они жили, очень плохо.

На примере родителей и я научился этой форме выражения мыслей и чувств: орать стало для меня нормой. С одной стороны, вроде темперамент, но на самом деле — просто невоспитанность.

Ещё из бакинской жизни помню землетрясение, как мы друг с другом переглядываемся: кто это стол шатает? А потом посыпались всякие безделушки с полок.

Помню, как сообщили, что подписан акт о капитуляции Германии. Было два или три часа ночи, видимо, народ уже ждал левитановского голоса по радио, а когда дождался, стали зажигаться вокруг окна и такой крик вокруг, слёзы, люди высыпали на улицу кто в чём, даже в ночных сорочках: 9 мая в Баку — уже теплынь.

Сейчас задумываешься и кажется странной такая бурная реакция, ведь понятно же было задолго до 9 мая, что немцев мы победили, но, видимо, всё-таки ещё опасались радоваться, боялись получить похоронку, хотя столько их ещё потом пришло, этих похоронок, после Дня Победы.

Совсем недалеко от нашего бакинского двора строили Дом правительства. Начали его возводить ещё в 1936 году, закончили в 1952-м. Получилось мощное, помпезное здание — сталинский ампир с восточным колоритом. А в конце войны на стройке работали пленные немцы. Помню, мы

бегали к колючей проволоке меняться: они нам выстругивали свиристелки, ещё какие-то поделки из дерева, а мы им давали хлеба. Немцы уже пытались говорить с нами по-русски, и помню, что люди их жалели. Поразительно: после всех ужасов войны — всё равно жалели. Во всяком случае, я не сталкивался со смертельной ненавистью, для которой, конечно, оснований было достаточно.

Это чувство ненависти позже я увидел в картине Михаила Ильича Ромма «Человек № 217», снятой ещё в 1944 году. Там в начале фильма по Москве идут колонны пленных немцев, а на тротуаре наши советские люди смотрят за шествием побеждённых, и несколько женщин в толпе общаются, обсуждают между собой, кто из этих идущих мимо фашистов какие мог совершить зверства. Но потом как будто жалостливая нота звучит по отношению к этим хромающим пленным, и главная героиня, которую играла жена Ромма, Елена Александровна Кузьмина, вступает в разговор и начинает страстно убеждать, мол, нечего их жалеть: «Я знаю, они все палачи!» И потом главная героиня вспоминает, а зрителю показывают, как её угнали в Германию, какие ужасы пришлось ей пережить в немецком рабстве.

Каждый раз думаю: кто придумывал эти гениальные режиссёрские ходы? Взять и прогнать по столице немцев, а потом ещё и поливальную машину пустить, чтоб следы этой нечисти смыло. Наверное, всё-таки сам Сталин. Летом 1945-го он всей стране, всему миру показал, что мы их сломали.

Или парад 7 ноября 1941 года на Красной площади — поразительно мощный ход, который не только вдохновил соотечественников, но и весь мир заставил сомневаться в непобедимости Гитлера, а ведь к тому времени нас уже практически похоронили, считая дни до вступления немцев в Москву.

Из того же ряда — Парад Победы 1945 года. Грандиозная режиссура со множеством ярких деталей. Особенно, конечно, эпизод, когда офицеры Красной армии презрительно бросают к ступеням Мавзолея Ленина штандарты поверженного фашизма.

Пару лет назад мне позвонила незнакомая женщина, преподаватель английского языка, еврейка, раздобыла где-то мой телефон и решила поделиться впечатлениями, посмотрев по телевизору в очередной раз какой-то из моих фильмов. Дама высказалась поощрительно, не без самомнения: «Вы молодец, хорошо придумали, я даже смеялась...» Ответил вежливо: «Спасибо, очень тронут...» Разговорились, слово за слово, каким-то образом сменилась тема, и она стала вспоминать о том самом московском «параде» пленных немцев лета 1945 года: «Они с такой гордо поднятой головой шли! Нет, не сломил их всё-таки Усатый!»

Всё же что-то странное происходит порой с человеческой памятью, с представлениями об исторической справедливости. Ведь, казалось бы, у евреев должна быть особенная ненависть к нацистам. И она, несомненно, существовала, чего стоит знаменитая статья Эренбурга «Убей!», написанная в 1942 году, и более поздняя, 1945-го, «Хватит!», где автор пишет: «Иностранная печать добрый год обсуждала термин „безоговорочной капитуляции“. А вопрос не в том, захочет ли Германия капитулировать. Некому капитулировать. Германии нет — есть колоссальная шайка, которая разбегается, когда речь заходит об ответственности...»

Сталину даже пришлось опосредованно, с помощью газетной статьи за подписью «Г. Александров», поправлять Эренбурга, объяснять: «Советский народ никогда не отождествлял население Германии и правящую в Германии преступную фашистскую клику». Сталин смотрел в будущее и вынужден был осадить одного из самых талантливых публицистов военного времени.

И что же, спустя семьдесят с лишним лет столичная интеллигентка, наверняка потерявшая в войну родственников, демонстрирует не просто некий абстрактный гуманизм, но даже проявляет солидарность с гордо идущими по Москве пленными гитлеровцами. Удивительно, но это факт: у нас возникло целое сообщество (и, конечно, не в рамках определённой этнической группы), которое в первую очередь не принимает Сталина, а уж только потом Гитлера. В слу-

чае с евреями такая логика кажется наиболее причудливой, ведь печи Освенцима всё-таки создание Гитлера. Однако же нет, первый изувер и мерзавец для кого-то из них – Сталин, чуть ли не по его вине началась Вторая мировая, не будь Сталина, может, с немцами и договорились бы как-нибудь.

В 1947 году, в год 30-летия Революции, отца перевели на службу в Архангельск, и он уехал туда принимать дела, обживаться. Я помню своё тогдашнее детское ощущение, которое, скорее всего, передалось от матери – её страшная, животная тревога. Муж уехал, прошло уже пару месяцев, а вернётся ли он, а не найдёт ли там кого, а кому она нужна теперь с двумя детьми, а ей-то уже за сорок. И ещё приходят подружки, соседки, подливают масла в огонь своими разговорами, расспросами, советами. Что же ей теперь, жить на алименты?

И вот мы всей семьёй напряжённо ждали отца. Помню, мать в это время стала ходить к каким-то гадалкам, нарядно одеваться, ярко красить губы, а первого сентября повела меня в первый класс. Мы уже должны были по всем срокам переехать в Архангельск, но, видимо, сомнения в такой перспективе у мамы оставались.

Я был очень горд успехами, получал одни пятёрки, но в свою первую школу пришлось походить всего неделю. Наступил выходной, слышу, мать радостно зовёт нас с сестрой на балкон: «Идите скорее сюда». Смотрим с балкона: от строящегося Дома правительства шагает отец с чемоданом в руках. Вернулся всё-таки нас забрать. Мама такая счастливая была, даже, мне показалось, как будто немного не в себе от радости.

Отцу выделили целую теплушку – не только семью перевезти, но и все наши вещи. В вагоне аккуратно расставили мебель, и в такой комфортной обстановке мы с мамой и сестрой отправились в Архангельск. Добирались около месяца. У нас была керосинка, на которой мать готовила еду, на остановках мама иногда разрешала сбегать за кипяточком.

Нас цепляли то к одному, то к другому составу, перетаскивали с пути на путь и снова везли дальше; мы наблюдали, как меняются пейзажи, очертания местности, природа — замечательное вышло путешествие по огромной стране от Баку до Архангельска.

В пункте назначения нас встречал отец. Помню, мы плыли на катере; для меня, привыкшего к морю, река стала открытием — широченная Северная Двина, из которой можно пить, зачерпывая пресную воду ладонью.

Квартира, как и в Баку, досталась нам двухкомнатная, в трёхэтажном деревянном доме, но в целом это была полная смена декораций. Город насквозь весь деревянный, каменной была, кажется, только набережная Павлина Виноградова. Там вообще много чего называлось этим именем: улицы, школа. Он был старым большевиком, революционером, Зимний брал, воевал с белыми и интервентами, а погиб в Архангельской губернии в 1918 году.

Деревянными были не только дома, но и тротуары — мостки на вбитых в землю деревянных сваях, по которым, стараясь не упасть в грязь, я бежал в школу и возвращался домой на улицу Свободы, 24. Дом этот не сохранился, но похожий я в Архангельске видел. Двор наш образовывался двумя одинаковыми трёхэтажными домами, каждый из которых имел форму буквы «Г». И в этом дворе мы играли в доселе незнакомую мне игру под названием «лапта». Весь мир был другим, и люди совсем иные — северяне. К ним даже татаро-монголы не дошли, чего уж говорить о немцах, поэтому и понятия здесь сложились особенные: мать сразу поняла, что можно уходить из дома, не закрывая дверей, и ни о чём при этом не беспокоиться. Кодекс чести складывался тут веками и формулировался очень просто: сказал слово — держи. Это вам не Баку, где «рыночные отношения» остались непобеждёнными: идёшь на базар — изволь соблюдать ритуал, торгуйся азартно, помни, что добродетелью тут считается хитрость. Северная культура повседневности другая: начальная цена является последней, изворотливых ловкачей тут презирают.

Три четверти нашего двора занимали деревянные сараи, в них каждая семья запасала дрова на зиму, а зимы в Архангельске долгие. Там я открыл для себя мир риска и адреналина: большинство наших игр проходило на крышах сараев, пространство между ними следовало преодолевать прыжком, но, чтобы прыгнуть, да ещё с непривычки, надо набраться смелости. Сначала эта пропасть казалась непреодолимой, потом научился с разбега долетать, а если не долетел, хватался руками за край крыши и кое-как вскарабкивался. Время от времени кого-то из нашей обширной компании всё-таки ожидала катастрофа, и тогда обрушившегося с крыши мы несли под общие причитания домой на попечение родителей, правда, через некоторое время он уже щеголял по двору на костылях, а вскоре снова лез на крышу, чтобы продолжить опыты преодоления гравитации.

Отдали меня в школу № 6 на набережной Павлина Виноградова. Учился я хорошо, учёба всегда доставляла мне удовольствие, я никогда не испытывал отвращения к школе, единственное — трудно было вставать по утрам. Любил абсолютно все уроки, никакой избирательности, приверженности, скажем, гуманитарным предметам, за собой не замечал — и литературой, и математикой занимался с одинаковой радостью, за каждый класс получал похвальные грамоты. Страстно увлекался всякого рода научно-популярными книгами, сейчас такие, к сожалению, вышли из обихода, а тогда — пожалуйста: «Занимательная физика», «Занимательная алгебра», самые разнообразные журналы от «Техники — молодёжи» до «Юного натуралиста».

Отец купил шахматы и начал меня учить. Я, освоив азы, предложил сыграть партию, получил мат в четыре хода и разрыдался так, что отец даже немного обеспокоился. Это стало новостью: оказалось, я не умею проигрывать. Со временем, постепенно мне удалось изжить это качество. Вообще, я не люблю тех, кто нацелен исключительно на выигрыш, стремится победить, не считаясь со средствами, а таковых немало в нашей артистической, творческой среде.

В Архангельске мы застали денежную реформу. Зря говорят, что она готовилась в страшной тайне и даже будто бы министр финансов Зверев запер на несколько дней в ванной свою жену, чтобы та не проболталась. Все всё знали, товары смели с полок, магазины опустели, и на последние десять рублей мама купила немецкую губную гармошку. А вот когда получили первые новые купюры, я попросил у мамы денег на кино и посмотрел на утреннем сеансе волшебный, замечательный, удивительный фильм «Весна».

Для меня судьба Александрова — яркий пример того, как необъективна и завистлива бывает наша творческая интеллигенция, как легко, с какой охотой смешивает с грязью, до каких низостей опускается.

Михаил Ильич Ромм рассказывал мне, что война застала Орлову и Александрова в Риге, нужно было срочно эвакуироваться; ехать чета решила налегке, и два массивных чемодана Александров передал своему администратору, еврею по национальности, предупредив, что строго спросит, если тот не доставит в сохранности ценный багаж в Москву. Администратор, в отличие от начальника, выехать из Риги не успел, и можно только представить, что ожидало этого несчастного еврея при немцах, однако финал у истории оказался счастливым. Уже после Победы, в Москве, к Александрову явился выживший администратор и, выполняя возложенные на него обязанности, передал хозяину заветные чемоданы с вещами. Мораль этой байки несколько меня озадачила: вот, дескать, какая везучая семья — Орловой и Александрова.

Именно так, походя, между делом, и уничтожали эту пару. Долгое время я пребывал в убеждении, что Александров действительно, как утверждают знающие люди, поехал в Голливуд, нахватался там приёмчиков и просто их старательно воспроизвёл на нашей почве. И даже мысли не возникало, что такого не нахватаешься — нужно обладать ярким самобытным талантом, чтобы создать «Весёлых ребят», «Весну», «Волгу-Волгу». Да и все остальные наши режиссёры того времени точно так же смотрели иностранные

фильмы: американские, французские, трофейные. Почему же им не предъявляли претензии, что они «нахватались»? Тот же Сергей Михайлович Эйзенштейн не мог простить Александрову народной любви: я, дескать, создал великий «Броненосец “Потемкин”», а слава достаётся Александрову, и страна любит его, и Сталин его приглашает на приёмы.

По молодости эти интриги были мне в новинку, я думал, что все знаменитости — небожители, что питаются они нектаром, говорят друг другу комплименты и на подлости не способны. С ходу верил всякой байке, потому что плохому веришь не сомневаясь, а вот хорошее сразу попадает под подозрение.

3

О первой и последней кличке, путешествии в Астрахань, уличных методах воспитания, настоящей ухе, тайной организации и пистолете под подушкой

Жизнь в Архангельске оставила, может быть, самые яркие детские воспоминания, но вообще не могу сказать, как это делают многие, что я родом из детства. Даже не вполне понимаю тех, кто считает, будто именно из детства произрастает всё самое важное в жизни. У меня детские годы были очень деловыми, я понимал — без особого постороннего внушения, — что надо набираться знаний. Читать я научился самостоятельно лет в пять, сразу приистрастился к журналам, изучал старые подшивки 20-х годов, возможно, самой интересной эпохи в истории нашей страны.

Период жизни в Архангельске был единственным, когда у меня была кличка: я всё время рассказывал, что приехал из Баку, и естественным образом начали называть меня Бакуней. Из архангельской жизни в памяти картинка — незаходящее северное солнце, когда от заката остаётся только краешек, но не исчезает, а снова начинает разрастаться, и вот солнце выходит заново. А мы прыгаем по сараям, играем во дворе в лапту до двух-трёх ночи, а взрослые сидят у окон, следят за игрой, болеют за своих.

В Архангельске я научился ходить на лыжах. Маршрут пролегал через Северную Двину на ту сторону реки, куда-то в лес. Здесь меня научили плавать; я помню, что едва не утонул, потому что всё время решал задачи по преодолению себя, а в Северной Двине, где летом температура воды едва

достигает восемнадцати градусов, ставить рекорды — опасное занятие.

Был у меня приятель — Женя Шестаков. Недавно, оказавшись в Архангельске, пытался его найти — не получилось. Подружились мы на почве чтения (как и почти со всеми моими дальнейшими друзьями), обменивались книгами, впечатлениями от прочитанного. В Архангельске возникла у меня и первая привязанность к девочке, даже помню, как её звали — Алла Железнова. Я нашёл на улице котёнка, принёс его домой и сказал, что он будет жить у нас. Мама спросила:

— А как назовём?

— Ажик.

Мама, с трудом сдерживая смех:

— А почему Ажик?

— Ну так мне хочется...

Имя Аллы Железновой было зашифровано в имени котёнка.

Я окончил в Архангельске три класса, и тут началась трагическая история в жизни нашей семьи, которую я тогда в полной мере не осознавал: у отца обнаружили туберкулез, видимо, он подхватил его от своей первой жены, той самой немки, которая и умерла от туберкулёза. Его сразу положили в больницу, и с тех пор время от времени папа туда возвращался на плановые обследования и госпитализации. Врачи сказали твёрдо: надо менять климат, и отцу предложили на выбор Одессу или Астрахань. Тогда ходило немало легенд о способах лечения туберкулёза, как водится, из уст в уста передавались народные рецепты, поверья, например, про барсучий и тюлений жир, а ещё бытовало мнение, будто лечить чахотку следует там, где родился заболевший. Это стало дополнительным аргументом: мать и отец были из Астрахани, поэтому выбрали её, хотя с точки зрения продвижения по службе решение спорное — близкий папин друг позже стал начальником КГБ Одесской области, так что карьера у отца могла сложиться удачнее.

В Астрахань добирались на перекладных. Поездом — до Москвы, остановились в гостинице «Пекин» (недавно узнал, что она относилась к ведомству госбезопасности). Целыми днями катались с сестрой на гостиничных лифтах, получая от этого невиданного аттракциона огромное удовольствие. Впечатлений о городе у меня не осталось: может быть, нам его и не показали. Сели в Москве на пароход и шли десять дней по Волге, которая была ещё настоящей Волгой, в своих природных пределах, без электростанций и искусственных морей. Путешествовали с остановками, с экскурсиями по городам, так что в детстве мне показали Россию и с юга на север, когда везли по железной дороге в Архангельск, и с севера на юг, когда водным путём мы направлялись в Астрахань, и таким образом страна вошла в меня всем своим огромным масштабом.

Поначалу мы жили в гостинице, потом сняли жильё в частном секторе — в Астрахани было много улиц с одноэтажными домами. Помню целое нашествие крыс, за которыми я наблюдал с интересом, помню, как они весьма изобретательно воруют из курятника яйца: одна ложится на спину, держит лапками на животе яйцо, а пара других волочет её за хвост в норку.

Потом мы переехали на 17-ю пристань, в район, который тогда казался мне отдалённым, а сейчас понимаю: место центровое, просто раньше оно было запущенным — рядом какое-то болото, неподалёку «татар-базар» (татарский базар). 17-ю пристань запечатлел Алексей Герман в фильме «Мой друг Иван Лапшин», он ещё застал улицу с деревянными домами, по которой ходил трамвай. Сейчас там всё по-другому, а невзрачное болото сделали красивым озером, по которому плавают лебеди.

Мама нарадоваться не могла, что на базаре можно купить нормальные продукты, да ещё и за копейки. В Архангельске мы питались в основном картошкой, на обед иногда треска, на завтрак кусок хлеба с маслом и сладким-сладким чаем. Помню, как меня подбадривали: «Давай-давай, это для мозгов полезно, врачи советуют». До сих пор

получаю удовольствие от приторно сладкого чая и хлеба с маслом.

Первым делом мать принесла с рынка сазана и сварила жирнющую уху. Мне эта рыба была в диковинку, я из вежливости чуть похлебал, а вот они с отцом как сели, да как взялись огромную сазанью башку разделявать, и остались в итоге только гладкие чистые косточки. Я посматривал на родителей даже с некоторой брезгливостью, а они не видели ничего вокруг, были полностью поглощены процессом.

Мама восторгалась ассортиментом, поражалась низким базарным ценам на рыбу, чёрную икру, фрукты, овощи. Помидоры такой невероятной вкусноты я нигде, кроме Астрахани, не встречал. Недавно в Крыму что-то похожее попало, но всё равно — не дотягивает. Настоящий помидор ломается пополам руками, и по краям у него выступает сахар. Осталось только посолить, взять кусок чёрного хлеба, и всё — обед готов. А когда привозят помидоры в Москву, даже из Астрахани, они всё равно уже не те, потому что созревают по дороге или на складе, а настоящий помидор надо есть с грядки.

К астраханской рыбе я пристрастился довольно быстро и тоже стал обсасывать кости, хотя, конечно, профессионализма родителей не достиг. Безусловно, самая правильная уха на свете — из осетрины. Всё остальное — заменитель. А буйаес — марсельский вариант рыбного супа с добавлением томата — это вообще какая-то насмешка. Настоящая уха получается только из свежевывловленной осетрины, тут и говорить не о чем.

Мы стали обживать в доме на берегу болотистого озера — это была территория 17-й пристани, куда приходили пассажирские, круизные теплоходы. По Волге тогда уже наладились туристические маршруты, стоили они недорого, вполне по карману простому советскому человеку. У Каверина в «Открытой книге» я прочитал, как его герои, оказавшись в Астрахани, были очарованы обычаем местных жителей гулять вечерами по городу. И правда, здесь была аллея, которая шла от Волги к нашему дому, и там, действительно, дождавшись вечерней прохлады, прогуливались

астраханцы — те, что постарше. А вот молодёжь высыпала на улицу Советскую — это была хорошая возможность пообщаться, обменяться новостями, завести знакомства.

В доме у нас была русская печь, и мама рискнула вспомнить, как в ней готовить. Какие же изумительные блюда у неё получались! Сейчас понимаю: обаяние русской кухни — в русской печи. Мы его, к сожалению, безвозвратно утратили, а то, что нам предлагает современная цивилизация — разнообразные скороварки и духовки — замена совершенно неравноценная.

Вообще и мама, и её сёстры, тётя Вера и тётя Шура, готовили прекрасно. Кухня, на которой я вырос, сделала меня гурманом. Я никогда не смогу довольствоваться перекусом, исходить из принципа «лишь бы пожрать», мне надо всё художественно оформить, чтобы от одного взгляда на пищу ты заводился.

Устроили меня, четвероклассника, в школу № 1. Ехать было далеко, в самый центр, школа находилась напротив Астраханского драмтеатра и была довольно странной: первый этаж полуподвальный, полы натёрты мастикой, не приведи господи поскользнуться и упасть — одежда тотчас в какой-то гадости с керосиновым запахом.

В первый день после занятий меня подозвали одноклассники и говорят: «Ну что, пойдём?» И сразу стало понятно, что зовут драться, а я по своему нутру совсем не драчун, не люблю этого дела, первым ударить не могу, но я знал из книжек, что идти надо обязательно. И вот со мной отправились несколько одноклассников, был среди них противный мальш, который больше всех подзуживал: «Давай, давай, пойдём, чего ты, боишься?» Выставили против меня второгодника, на пару лет старше, да ещё и крупных габаритов. От школы отошли совсем недалеко — чуть ниже драмтеатра площадь с цирком, вот как раз перед ним мы и начали, так сказать, боксировать. К счастью, соперник меня не убил, а я даже до него пару раз дотянулся. Дрались в те времена до первой крови, это было тогда правилом.

На второй день после занятий опять вопрос: «Ну, пошли?..» И так дня три подряд меня мутузили. Потом как-то сами собой эти поединки рассосались, и должен заметить: никакого особо ценного опыта я ни в этих, ни в других драках не приобрёл. Всегда считал себя мирным человеком, терпеть не могу подобного рода историй и точно знаю: люди в них выглядят совсем не как в кино.

Несмотря на такой приём я всё-таки полюбил и класс, и школу, подружился с ребятами, у нас образовалась компания, которая так до десятого класса в одном составе и сохранилась: Владик Хлебников, Женя Леонтьев, Владик Профатилев и я. Так мы все четверо и закончили школу с серебряными медалями.

После четвёртого класса у нас должен был состояться выпускной вечер. Помню, отправился я туда вместе с родителями, отец с матерью торжественные, принаряженные, я иду с гордо поднятой головой: меня должны наградить похвальной грамотой. Так в предвкушении праздника подходим к школе, и тут я замечаю нечто подозрительное: возле школьного крыльца никого народу. Заходим внутрь, а нам рассказывают, какой вчера был чудесный вечер, как жалко, что мы не пришли...

Оказалось, я что-то не так понял, неверно записал и в итоге перепутал дату. Развернулись мы и молча отправились обратно, а уже дома мне досталось. Вообще, отец порол меня несколько раз. Помню, как однажды в Архангельске я бежал от отца и слышал его тяжёлые сапоги, и он всё-таки меня догнал, схватил, зажал между ног и — офицерским ремнём по заднице. Конечно, отвратительный обычай, но доставалось мне, как правило, за дело.

У отца моего был громадный авторитет в нашем семейном клане. К нему ходили советоваться по самым разнообразным вопросам родственники, знакомые, соседи. Он внимательно выслушивал, давал рекомендации: работник госбезопасности это была, конечно, уважаемая в народе фигура.

В Астрахани, на новом месте, у мамы обнаружилось громадное количество родни: двоюродные, троюродные

сёстры, а ещё старший брат дядя Коля приехал как-то в гости из Гурьева — сейчас этот город относится к Казахстану, оттуда родом Тимур Бекмамбетов.

Судя по всему, дядя Коля под приглядом жены мало чего себе позволял, а тут, на свободе, совсем резьбу сорвало: послала его мать как-то за хлебом, и вот день дяди Коли нет, два нет, и только на третий появляется:

— Тося, я хлеб принёс.

— Где ты пропадал? Мы тебя уже похоронили!

— Да я там друзей встретил, — говорит дядя Коля и прячет глаза.

Однако не только к нам заходили или приезжали родственники, но и мама меня таскала по родне, мы часто ходили в гости — это были в основном бабьи встречи-посиделки. Помню, пришли к вдове дяди Лёши, самого младшего из братьев, который погиб на фронте. Они, как встретились, сразу — такие слёзы, такие рыдания... Потом я узнавал эти проявления простых и ярких эмоций русского человека в лучших наших картинах. Например, в одной из любимейших моих фильмов «Родная кровь» есть сцена, где героя Матвеева встречают родственники после долгой разлуки, и кто-то из тётушек, завидев его — сразу же в слёзы, без всякой хотя бы секундной паузы, и после этих слёз с объятиями больше уже ничего не надо говорить и объяснять.

Мать была очень активна, стараясь восстановить утраченные связи. Наши родичи в Астрахани за несколько десятилетий друг друга растеряли, и мама многих нашла. Из Баку на пароходе стали к нам приезжать тётя Вера и тётя Шура, жили у нас какое-то время. Мама съездила в Чаган, где уже никого из их рода не осталось. Вернувшись, вспоминала, как в детстве они с сёстрами ходили до Астрахани двадцать пять вёрст пешком на базар: утром взвоят на себя по огромному бидону с молоком, а вечером с пустыми, распродав, возвращаются.

То, что со мной происходило в это время, можно было бы назвать воспитанием чувств, формированием характера, но я не помню, чтобы меня настойчиво воспитывали;ipro-

чем, и большинство моих сверстников получали набор важнейших представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, из школы, из книг, из кино. Да и просто жизнь учила. Сами собой усваивались принципы, которыми нормальному человеку нужно руководствоваться: не убий, не укради...

Как-то попала мне в руки «Педагогическая поэма», и с первых страниц, что называется, запала в душу: роман Макаренко читался легко, почти как приключенческая литература. Заинтересовавшись автором, я прочёл ещё «Книгу для родителей», которая стала для меня настоящим открытием: ух ты, оказывается, детей воспитывают! Оказывается, существуют какие-то особые методики, традиции, где-то, например, заведено к родителям на «вы» обращаться.

Улица, конечно, тоже прививала верные представления о чести и достоинстве. Вот, например, в пятом классе я единственный закончил первое полугодие круглым отличником и, видать, возгордился. Я не думал хвастаться, говорить, что я лучше других, но, вероятно, на моём поведении как-то сказывалась гордость за достижения, наверное, на лице было написано, что я молодец, победитель. И вот на перемене подходит ко мне тот самый второгодник, с которым я у цирка дрался, он уже к тому времени ушёл из школы и выглядел как настоящий мужик. «Ну что, отличник?» — спрашивает. «Да!» — отвечаю я, ещё не понимая, что происходит. И незамедлительно получаю в глаз. От удара свалился на пол и зарыдал, а ко мне подходит Профатиллов: «Что ты плачешь? Стыдно!»

Молодец, Владька, хорошо среагировал. Когда такие вещи от сверстников слышишь, они гораздо доходчивее воспринимаются и лучше запоминаются.

Пришёл я домой, рассказал матери, она говорит:

— Слушай, а это не друзья твои устроили?

Я возмутился:

— Ну что ты? Как ты можешь!

Но позже выяснилось, я уже не помню каким образом, что именно друзья и организовали расправу — в назидание, так сказать. Впрочем, эта история не разочаровала меня в человечестве.

То, что о моём воспитании особо не беспокоились, аукнулось потом, когда я оказался в Москве, в новой для себя среде. Там я понял, как много я не понимаю, не чувствую, не знаю, как многому не обучен, хотя таких, как я, невоспитанных, было среди студентов, пожалуй, большинство.

С другой стороны, нельзя сказать, что отец совсем не пытался мною заниматься. Он был суров, проводил пару раз в год беседы, правда, в них угадывалась специфическая манера допроса. Он садился напротив меня, прожигал взглядом, брал дневник, внимательно изучал, задавал вопросы, явно стараясь вывести на чистую воду: «Так, а это что? А почему здесь четвёрка?» И с каждой перевёрнутой страницей дневника у меня нарастало чувство вины, хотя каких-либо серьёзных оснований для этого не было, ведь учился я хорошо, а одна несчастная четвёрка определённо картины не делала.

Наше поколение уже явственно ощущало разрыв в образовании с родителями. Хотя мой отец был очень способным к обучению. Мать тоже быстро схватывала, обладала природным цепким умом, но всё равно до конца жизни так и не научилась правильно произносить какое-нибудь заковыристое слово типа «социалистический».

Отец продолжал работать, периодически ложился в туберкулёзный диспансер, но выглядел вполне крепким мужиком, и мать очень его ревновала. Хотя на себя совсем махнула рукой, уже ни за что не боролась: какое-то одно платёжишко на выход, а вообще можно сказать, что большую часть жизни провела она в домашнем халате. Целый день крутилась, вставала в шесть, ложилась в двенадцать. Холодильников не было, поэтому приходилось каждый день на всех готовить.

Отцу, как и маме, одежда почти не требовалась: он ходил в форме, но мы-то с сестрой растём, нам всё время надо что-то подкупать. Мама исхитрялась, не вылезала из ломбарда, что-то закладывала, потом выкупала обратно и снова по кругу.

Три раза в год, перед Новым годом, 1 мая и 7 ноября, она устраивала большую стирку и генеральную уборку. Понима-

ние жизни было у неё совершенно деревенское. Большая комната-гостиная считалась у нас неприкосновенной. Вокруг большого стола — шесть стульев в чехлах, садиться на них запрещалось, как и на диван, тоже покрытый чехлом. На столе — накрахмаленная скатерть, в дверных проёмах и на окнах — накрахмаленные занавески, можно порезаться о края. Ели мы на кухне, хорошо, что была она просторной.

Ребята любили приходиться ко мне в гости, потому что всегда что-нибудь вкусное приготовлено. Обычно после ноябрьской демонстрации собирались у меня дома. Когда стали повзрослее, выработался ритуал: тяпнем бутылочку «плодово-выгодного» на четверых где-нибудь на улице, а потом к нам — есть вкуснейшие пироги с рыбой, капустой, мясом!

Классе в шестом я сагитировал друзей создать тайную организацию. Наверняка какая-то книга к этому подтолкнула. Собралось нас человек пять заговорщиков. Для чего, не очень ясно, цели мы не обозначили, устава не разработали, но был листик бумаги, имеющий заголовок: «Список лиц, которым надо отомстить».

Учительницей по русской литературе была у нас неприятная грузная женщина, считавшая себя крупным педагогом, но по природе своей — прирождённая стукачка. Однажды она внезапно выросла у меня за спиной и, заметив подозрительный листок, взволновалась: «Что это? Что ты здесь заполняешь?» Я пытался отбрехаться, но она стала давить, да с такой садистской настойчивостью, что я не выдержал и показал, рассчитывая на её порядочность. Она ахнула: «Боже мой!» Начала расспрашивать, и самым страшным стало для неё слово «организация», потому что это уже вопрос КГБ, он выходит за рамки полномочий школы. Перепугались все ужасно, начали нас таскать по одному к директору на беседы. Фигуранты оказались известны, потому что мы очень умно законспирировались: написали в каждом членском билете имена всех участников тайной организации.

У нас хотели выведать цели организации, но мы их сами толком не знали. С нами пытались наладить контакт, вели душевные разговоры: «Ребята, ну зачем вам это нужно? Пошли бы лучше в авиамодельный кружок». На нас кричали: «Чего вам не хватает?..» Но в конце концов историю пришлось замять, уж слишком очевидной была наивность учредителей тайной организации.

После смерти Сталина и ареста Берии в органах госбезопасности начались серьёзные чистки. Менялась структура спецслужб, КГБ объединяли с Министерством внутренних дел, и отец даже какое-то время носил милицейскую форму. Всё это было так неожиданно, так унижительно, так неприятно. Помню, как-то утром мы вышли с ним из дома, направляясь каждый по своим делам, я — в школу, он — на службу. И вдруг отец мне говорит: «Ой, забыл... Вернись, у меня там под подушкой пистолет...» А он тяжелый, пистолет этот, я спрятал его за пазухой, принёс и сунул незаметно в отцовский карман... Что это значило — пистолет под подушкой? То ли мести отец опасался, то ли ареста.

В жизни страны начинались большие перемены. К людям на руководящих должностях, к сотрудникам важных государственных учреждений стали предъявлять новые требования. Раньше было обычной практикой, если в личном деле в графе «образование» значилась «семилетка» или даже «начальное». Теперь с такими анкетными данными вполне можно было потерять работу. Менялась не просто кадровая политика, менялась парадигма развития государства.

Отцу тогда было чуть больше сорока, и он пошёл учиться в вечернюю школу, оказавшись, как и я, в 8-м классе. У меня в это время уже начались романы с девочками, я стал потихоньку распускаться, не успевал делать уроки и позволял себе наглость оставлять отцу нерешённые задачки, а он после службы шёл в вечернюю школу, возвращался домой и ночью мне их решал. Утром я пролистывал тетрадь и радовался: «Отлично! Папа всё сделал!»

4

О тайных сторонах подростковой жизни, появлении в классе новенького и девушке, похожей на актрису из «Весны на Заречной улице»

Лет в двенадцать я узнал, что существует такое явление — дневник. Не школьный, где оценки и расписание, а особенный, личный. Это стало важным и в каком-то смысле судьбоносным открытием. Оказывается, можно записывать свои впечатления, мысли, желания, намечать планы.

Опыт ведения дневника я почерпнул из фильма по сценарию Агнии Барто, посмотрев в одном из наших астраханских кинотеатров картину «Алёша Птицын вырабатывает характер». Там герой брал на себя разнообразные обязательства, записывал: «Начать новую жизнь с понедельника...» И я тоже, вслед за Алёшей Птицыным, завёл заветную тетрадь.

У меня эти дневники, накопленные за долгие годы, частично сохранились, лежат где-то, и я очень надеюсь, что найду их и сожгу — поразительно, до чего же неинтересное чтение. В моих дневниках главным образом обозначались задачи, которые я ставил себе на неделю, месяц, год, десятилетие. И ещё там — неизменное разочарование их неисполнением: «На этой неделе не получилось, но со следующей непременно...»

И всё-таки пользы от дневника оказалось больше, чем вреда. Необходимость отчитываться перед самим собой, признавать поражения дисциплинировала, делала жизнь

целенаправленной. В дневнике я, например, записывал, какие книги надо прочитать, и эти пункты, как правило, выполнялись.

Я не ограничивался приключениями или фантастикой, список рекомендованной самому себе литературы пополнялся серьёзными произведениями — историческими и даже философскими. В учебниках, журналах, кинокартинах я подмечал подсказки: на какую книгу, какого автора стоит обратить внимание. Это был весьма хаотичный способ самообразования. Руководствовался я скорее интуицией — большинство взятых на карандаш имён не говорили мне ровным счётом ничего; лишь по обрывочным сведениям, по контексту упоминания я выбирал для себя очередной объект изучения и шёл за ним в библиотеку. В этом смысле гораздо больше повезло моим сверстникам «аристократического происхождения», «интеллигентного сословия»: их направляли взрослые, им нанимались репетиторы. Мне же приходилось двигаться самому и на ощупь. Впрочем, именно такой способ познания сформировал важные черты характера: я привык самостоятельно преодолевать трудности и достигать результата.

А ещё книги и кино подсказывали, какие качества нужно в себе развивать. Я отмечал их в дневнике и записывал сроки, в которые следует уложиться. Не обнаружив к назначенному времени изменений к лучшему, оставалось только зафиксировать в дневнике этот печальный факт: не смог, не удалось, не получилось... И всё-таки со временем, пусть и гораздо позже намеченного, я замечал в себе качества, запланированные когда-то в дневнике.

А вообще-то я записывал туда всё подряд, совершенно не рассчитывая на широкую читательскую аудиторию. И явно просчитался: в какой-то момент стало ясно, что отец очень хорошо осведомлен о тайных сторонах моей подростковой жизни. Однажды я застал его внимательно изучающим нашу этажерку с книгами. Ревизия домашней библиотеки была не случайной: дело в том, что классе в девятом я нашёл верный способ добыть денег на личную жизнь. Достаточно было

отнести в букинистический отдел книжку-другую, чтобы появились средства на вино, которое мы с друзьями к тому времени уже распробовали. Раз отнёс, два отнёс, на третий обнаружилось, как отец проводит инспекцию. «Вот, — говорит он, как бы озадачься, — книг не могу найти». Пришлось сознаваться, но по мере произнесения покаянной речи я вдруг догадался: боже, да он ведь читает мой дневник! И я пылко предъявил отцу претензии. Надо сказать, он смутился и начал не очень убедительно доказывать, что и слыхом не слыхивал о существовании какого-то дневника.

А ведь я даже не думал его прятать. Лежал он, конечно, не на видном месте, а в ящике стола, но мне даже в голову не приходило, что кто-то станет его читать. А уж если и прочтёт, не станет использовать прочитанное мне во вред. У меня сложилось твёрдое книжное представление: нельзя читать чужие письма, нельзя без спросу брать чужой дневник.

Сведения о том, что такое хорошо и что такое плохо, я черпал, в том числе, из дореволюционных источников, например из цикла повестей Гарина-Михайловского «Гимназисты», «Студенты»... Так у меня сложился своего рода гимназический кодекс чести, который, надо сказать, совсем не противоречил правилам, которые нам прививали в школе. Что только не говорят сегодня о «тоталитарной советской педагогике»: она, дескать, воспитывала стукачей, бессловесных винтиков тоталитарного государственного механизма. Прочитав немало книг о жизни в дореволюционной России, опираясь на собственный опыт учёбы, я могу с уверенностью сказать, что в 1940–1950-е годы в Советском Союзе, по сути, вернулись к гимназическим стандартам образования Российской империи, к этому времени уже были преодолены крайности 20-х годов с их педагогическими экспериментами.

В стране уже сложилась продуманная, многоуровневая система воспитания. Широко издавалась классическая литература, регулярно выходили книги современных авторов «для детей и юношества», а ведь было ещё мощное детское

кино. И не могу припомнить, чтобы где-то в школе, в Доме пионеров, в детской периодике, фильме или книге меня пытались охмурить поэзией стукачества. Вся система воспитания культивировала в нас совершенно иное, нам внушалось, что крепкая дружба — это важнейшая ценность, что помощь товарищу — святая обязанность. Может быть, лишь раз возникла эта тема в школьные годы, когда мы всем классом скрывали чей-то неблагоприятный поступок, наотрез отказываясь сдать провинившегося. Учитель сказал нам тогда о «ложно понятом чувстве товарищества», но и эта изящная формула с толку нас не сбила.

Сегодня уже вошло в обиход, стало модой ссылаться на Павлика Морозова, представляя его в качестве эдакого символа советского доносительства. Я уже не говорю о том, что само обвинение не выдерживает критики: никаким стукачом и предателем Павлик Морозов не был, он оболган во времена перестройки недобросовестными публицистами. Кто сомневается — прочитайте блестящую статью Владимира Бушина «Он всё увидит, этот мальчик...», в которой разоблачаются создатели мифа о «предателе-стукаче».

Советские детские писатели, по сути, сохраняли преемственность в отношении дореволюционной литературы, утверждали ценности товарищества и общественной пользы. Книги Льва Кассиля, Агнии Барто, Аркадия Гайдара — об этом. Да и менее известные сегодня авторы, которыми я зачитывался в детстве, писали о том же.

Читал я запоем. Дружил, основываясь на общем интересе к чтению. Неужели кто-то полагает, что апология стукачества могла пробудить наш интерес к книге? Нас манила остросюжетная история, фантастический и приключенческий жанры, романтика дружбы.

Одну за другой я «проглатывал» повести Германа Матвеева о друзьях-подростках, участвующих в обороне Ленинграда: «Зелёные цепочки», «Тайная схватка», «Тарантул»... А вот для примера короткий фрагмент из повести Николая Шпанова «Тайна профессора Бураго», которой мы зачитывались, передавая друг другу как великое сокровище потрё-

панный журнал, и маялись, ожидая, когда наконец напечатают продолжение.

«„Великая штука — дружба. Пуще зеницы ока берегите её. Вяжите её канатом“, — сказал Саньке Найденову и Пашке Житкову старший лейтенант Кукель в тот чёрный день, когда перестал существовать Черноморский флот Советской республики. И мальчишки накрепко запомнили эти слова. Запали в их память и обещание мужественного офицера, что возродится воинская мощь Отечества, и собственные клятвы верно служить Родине. Александр стал лётчиком, Павел — моряком-подводником. А ещё друзей увлекла наука: Житков занялся созданием покрытий, способных сделать невидимыми для врага корабли, подводные лодки, самолёты, а Найденов, считавший, что на всякий яд должно найтись противоядие, разрабатывал „ухо“, которое при любых обстоятельствах услышит невидимого противника. Потом было невероятное открытие профессора Бураго, его неожиданное исчезновение...»

О, это загадочное исчезновение профессора Бураго в конце первого тома! Казалось — навсегда! Неужели фашистские шпионы украли его секретные разработки? Неужели советские корабли так и не смогут стать невидимыми для врагов? Но вдруг во второй части повести Шпанова выясняется, что профессор жив! И, впечатлённый этим невероятным воскрешением, я бежал к товарищу делиться новостью.

И приключенческая литература, и фантастика формировали то, что принято называть «нравственными императивами». Нас вовлекали захватывающим сюжетом и параллельно учили простой, но очень важной вещи — отличать добро от зла. И «Приключения Сэмюэля Пингля» Сергея Беляева, и «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого — это нечто большее, чем просто научная фантастика.

Зарубежная литература для подростков, которую издавали в СССР, тоже учила представлениям о чести и достоинстве, заставляла восхищаться красотой и величием человеческого разума: Жюль Верн, Дюма, Конан Дойль, Стивенсон, Фенимор Купер.

Лучшие образцы детской литературы постепенно и ненавязчиво готовили к восприятию более сложных вещей. Чуть позже в мою жизнь вошли книги, которые без преувеличения можно назвать этапными, судьбоносными не только для меня, но и для нескольких поколений, например «Два капитана» Вениамина Каверина или «Мартин Иден» Джека Лондона. Я твёрдо убеждён: эти книги не должен пропустить ни один мальчик, если он рассчитывает стать настоящим мужчиной. А ведь ещё (а возможно, в первую очередь) была школьная программа по русской литературе, которая уж точно плохому не научит.

Большим сюрпризом стала для меня новая концепция образования, которую стали внедрять в России XXI века: дескать, школа не должна воспитывать, образование — лишь услуга населению. Даже, честно говоря, не очень понимаю, кому такое могло прийти в голову. Вспоминая свой школьный опыт, свидетельствую: нас именно воспитывали. И в первую очередь уроками литературы.

А после школы я шёл в читальный зал, потому что лучшие книги на руки не выдавались. Я брал книжку, сидел в библиотеке два-три часа и только потом отправлялся домой, делал уроки, а потом что-нибудь обязательно читал на ночь.

Со временем мне надоело вести дневниковые записи, надоело бороться с собой, но дневник, безусловно, мне помог, в первую очередь в плане самоорганизации и дисциплины. Да, я постоянно винил сам себя за лень, мне вообще вся моя жизнь казалась не слишком удавшейся, малоубедительной, нерезультативной, но годам к тридцати я понял, что самобичевание принесло вполне конкретные плоды. И в плане самообразования, и в плане самопознания. Может быть, поэтому меня не очень впечатлили открытия в изучении глубин человеческой природы, о которых я узнавал из книг, например, Достоевского или, скажем, Фрейда. Многое мне уже стало известно на собственном примере.

Задним числом понимаю, насколько у меня была занижена самооценка. Я мало что знал, в жизни разбирался плохо,

ничего не понимал в искусстве и кроме неясного душевного томления, невнятного духовного трепета ничего не испытывал. Я не мог сформулировать, что со мной происходит, не мог понять, почему меня тянет сюда — в мир искусства, в мир кино, театра.

Вообще мне кажется, это одна из главных тайн человеческой природы — процесс зарождения таланта. Как, почему он вдруг обнаруживается? Если говорить об актёрском таланте, тут более-менее ясно: его можно распознать, он бросается в глаза. А вот, например, писательский дар?.. Ведь у всех есть возможность записывать. Я тоже лет в четырнадцать селся и писал — получались заурядные графоманские опусы. Однако я не чувствовал в себе и актёрского дара, хотя ходил в драмкружок. При этом, конечно, я обожал кино, не пропускал ни одного фильма и считался в своей компании лучшим знатоком кинематографа. Я помнил, кажется, все названия, имена актёров, даты премьер. Мог смотреть картину, причём вполне заурядную, и два, и три раза. Мне было важно просто оказаться в кинематографической атмосфере. Таким образом я познавал мир, получал сведения о том, как живут за границей, какую одежду носят, какими пользуются вещами, на каких машинах ездят. Всё мне было интересно, особенно как выглядит Москва, как устроена эта другая, столичная жизнь.

Одно из наиболее очевидных проявлений таланта — любопытство. Любопытство к новому. Любопытство к разным сторонам жизни, порой отвлечённым, не имеющим прямого отношения к тебе, твоим повседневным заботам, профессиональным интересам. Я не раз убеждался из опыта общения со многими выдающимися людьми, что именно любопытство — объединяющая их черта.

Думаю, что новый виток развития человечества будет связан с обнаружением механизмов, которые позволят выявлять человеческий талант. Я совершенно убеждён, что каждый рождается с талантом, просто не всем удаётся его обнаружить. Кому-то мешают сложные социальные обстоятельства, кому-то общественные устои, предрассудки, ко-

му-то родительский диктат. И можно только представить, как прирастёт талантами человечество, если в полной мере сможет раскрыться Африка, Китай, Индия, какой рывок сделает наша цивилизация, когда механизм обнаружения таланта заработает в отношении большинства, когда разнообразные социал-дарвинистские теории и практики окончательно потерпят крах.

Конечно, талант распространяется не только на духовную, творческую или научную сферы. Талант проявляется в любом ремесле, в любой, даже самой, казалось бы, незатейливой работе. Впечатляет меня не только виртуозный музыкант или художник — не меньшее восхищение вызывает токарь или слесарь, плотник или столяр. Каждая профессия, любое ремесло предполагает наличие таланта — любишь, когда видишь человека на своём месте, человека, которому удалось распознать и раскрыть в себе талант.

И вот однажды в нашем классе появился новенький мальчик — Дима Першин. Хотя правильнее сказать не мальчик, а «молодой человек». Он был из Москвы, а в Москве Дима вёл радиопередачу «Пионерская зорька», что с трудом укладывалось в голове. Слухи о Диме распространились моментально, и сомнения в их правдивости исчезли, когда на первом же концерте в новой для себя школе он вышел на сцену с удивительно ярким номером. Дима был наполовину армянином — по маме. Она и аккомпанировала ему на пианино. Кавказский колорит песенки на стихи Маршака и музыку Кабалевского оказался весьма органичным. Дима с ходу покорила зал — и учеников, и учителей, номер оказался просто потрясающе смешным и заразительным:

Дедка на ослике ехал верхом,
Мальчик за осликом плёлся пешком.
— Глянь-ка! — кричит из окошек народ, —
Дедушка едет, а мальчик идёт!
Где это видано, где это слыхано? —
Дедушка едет, а мальчик идёт!..

Я просто обомлел. Мне впервые довелось воочию столкнуться с настоящим талантом! Сразу же захотелось с Димой дружить, всё было в нём интересно: взгляды на жизнь, увлечения, предпочтения.

Это был первый случай столкновения с ярким дарованием, но впоследствии подобное повторялось неоднократно: каждый раз, когда я встречался с талантом, у меня возникало бешеное желание понять его природу. И это желание не имело ничего общего с завистью. Я вгрызался в талантливого человека, не стесняясь признавать свою вторичность. Хотелось научиться, овладеть теми же качествами, более точное определение — хотелось разобрать эту игрушку и понять, как она устроена.

В дополнение к своему яркому актёрскому дарованию Першин ещё и прекрасно декламировал стихи, вдохновенно читал со сцены что-то патетическое, правительственно-партийное. Это были очень «правильные» стихи, в том числе «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза». У него получалось выступать не просто с чувством, с экспрессией, а делать это по-взрослому. Талант, настоящий талант!

Появление в моей жизни Димы Першина стало очень важным событием. Я тянулся к нему, бывал у него дома, хотя не могу сказать, что его мама проявляла особое радушие. Да и понятно, ведь Дима явно готовился к жизни в высших сферах, был явлением незаурядным, и я, шестиклассник, прекрасно осознавал разделяющую нас пропасть.

В 6–7-м классах мы с Димой очень сблизились, вместе с ним мне стало по-настоящему интересно принимать участие в концертах, делать совместные номера. Способности наши были несравнимы, он был настоящей суперзвездой, а я на подхвате; но, впечатлённый талантом Першина, я стал робко задумываться, моя мечта начала постепенно принимать конкретные очертания, хотя мы ещё не говорили вслух о планах, не обсуждали, кто кем хочет стать. Мечта моя вырисовывалась, но была призрачной и тайной

даже для меня самого. Отец рассчитывал, что я пойду по военной части, и я действительно думал идти учиться на военного, хотя где-то в глубине всё-таки бродили мысли совершенно иного толка.

Умер Сталин, и это событие стало потрясением для страны. В шесть утра по радио передали сообщение «О болезни и смерти Иосифа Виссарионовича Сталина», и я бросился к знакомому отцу, который работал проводником поезда «Астрахань — Москва», и тщетно пытался уговорить его взять меня в столицу на похороны.

По современной литературе можно сделать вывод, что многие едва ли не обрадовались смерти Сталина. Мне с такой реакцией сталкиваться не приходилось — я видел людей, оглушённых горем. В день похорон, 9 марта 1953 года, народ по всей стране стоял у памятников Сталину и слушал радиотрансляцию с Красной площади. А уже к лету жизнь в стране начала заметно меняться. Меняться в сторону послабления.

Сегодня кажется: а может, Сталину после войны всё же стоило ослабить узду? Не держать народ в такой строгости — люди ведь ждали этого. Но, с другой стороны, а как ослабить, если война для нас, по сути, продолжалась? Американцы только успевали обновлять планы ядерной бомбардировки советских городов. И для нас становилось вопросом жизни и смерти создание атомной бомбы. Не очень-то и расслабишься, когда полстраны работает на атомный проект. И всё-таки цены снижались, жизнь в бытовом плане становилась полегче. Правда, в идеологической сфере гайки закручивались: то борьба с космополитами, то накат на Зощенко и Ахматову. И после триумфа Победы эти кампании уже не выглядели необходимостью. Намечалась смена исторической парадигмы, осуществить которую Сталин уже не мог и в силу характера, и в силу мировоззрения. В 30-е он проявил политическую мудрость, отверг лозунг «мы старый мир разрушим до основания...», принял решение возвращаться к традициям, но со старыми большевиками во главе партии и государства это было невозможно.

А Хрущёв взял на вооружение идеи старых большевиков, уничтоженных в 30-е, и его антисталинский доклад на XX съезде сыграл поистине роковую роль в истории нашей страны. До сих пор последствия XX съезда не изжиты, и нам ещё долго будут тыкать в нос «разоблачением культа личности». Даже несмотря на то, что серьёзными историками опровергнуты допущения, преувеличения и передёргивания, содержащиеся в хрущёвском докладе. С тех пор страну и мир убеждали, что так называемые репрессии — это и есть главное содержание советской жизни. Хрущёв своим докладом раздал козыри в руки антикоммунистов, посеял сомнения и смуту в соцлагере, потерял союзника в лице Китая: Мао Цзэдун оказался мудрее, понял, к чему приведут эти «разоблачения».

Уже в 1956 году по всей стране начали сносить памятники Сталину, в том числе тот, у которого мы скорбели в марте 1953-го. Правда, сносили по ночам — не так вызывающе, как в 1991-м поступили с памятником Дзержинскому в Москве. Скульптуры Сталина демонтировали аккуратно, не привлекая лишнего внимания. Возможно, опасались волнений, хотя вряд ли они могли случиться, ведь после хрущёвского доклада народ понимал, что Сталин обречён.

Но ожесточённые споры на кухнях не замолкали, и я тоже спорил с отцом, не располагая, впрочем, никакими аргументами, кроме этого злополучного доклада на XX съезде. На стороне старшего поколения был опыт: они прожили жизнь при Сталине и знали, что в подавляющем большинстве случаев альтернативных решений у него не существовало. Тем более что принимались они в определённом историческом контексте, и контекст этот формулируется просто: «послезавтра война». С приходом Гитлера к власти это понимали и Сталин, и Политбюро, да и весь народ всё больше осознавал неизбежность войны.

На каждой исторической развилке имелся только один путь, ведущий в конечном счёте к Победе. Ни о какой многовариантности не могло быть и речи. Неверный выбор

неизбежно приводил государство к краху. И Сталин каждый раз выбирал верное решение.

Жестокость наказания за ошибки, просчёты и преступления была обусловлена теми же историческими обстоятельствами — неизбежностью войны с фашизмом. Страна не имела возможности развиваться эволюционно, каждая рабочая смена была на счету. Важнейшие решения по военно-промышленному комплексу принимались в ежедневном режиме. Стратегически Сталин тоже проявил себя блестяще — чего стоит его концепция конкурирующих институтов, инженерных школ, конструкторов. Сколько великих имён в одном только авиастроении: Туполев, Ильюшин, Яковлев, Петляков, Поликарпов, Мясичев, Бартини...

Но в стране не только работали на износ, но и место для веселья оставалось: снимали, например, блестящие комедии, хотя даже в них звучала мысль — «если завтра война, если завтра в поход». И поколение, призванное на Великую Отечественную, морально оказалось готовым к испытаниям. Поколение Когана, Старшинова, Майорова ушло на фронт и почти всё героически погибло в первые годы войны.

И вот наступала эпоха, позже получившая название «оттепель». Довольно скоро, уже в 1954 году, стали заметны проблески новой жизни. Одна из её примет — отец стал приходить раньше со службы. А в былые времена он, как и другие руководящие работники, мог задержаться до глубокой ночи, нередко приходил, только чтобы переночевать, жил, по сути, в режиме Сталина.

Оттепель намечалась и в искусстве, но самым очевидным её проявлением стал для меня новый кинематограф. Закончился период, для которого даже придумали специальный киноведческий термин — «малокартинье». Десятилетие, когда снималось по паре десятков фильмов в год, а в 1951-м так и всего девять картин. Это тоже была сталинская идея — делать двадцать фильмов в год, но чтоб каждый оказался шедевром. Шедевры выходили далеко не всегда,

фильмы в основном получались с ярко выраженным идеологическим пафосом, многие были посвящены историческим персонам: «Глинка», «Академик Иван Павлов», «Тарас Шевченко», «Жуковский», «Белинский», «Римский-Корсаков». Народными картинами становились немногие: «Подвиг разведчика», «Золушка», «Молодая гвардия», «Кубанские казаки»...

После смерти Сталина в советском кинематографе произошли революционные изменения. Поначалу казалось, что снимать по сто фильмов в год, как хотел Хрущёв, не получится: где взять столько талантов? А оказалось, что были и таланты, и идеи. Стоило только «разрешить», раздвинуть рамки.

На «Мосфильм» пришёл Иван Александрович Пырьев, при нём построили новые павильоны, при нём появились новые лица, запустились многие молодые режиссёры, позже ставшие классиками. За несколько лет «Мосфильм» выдал на-гора настоящие шедевры в разных жанрах и на любой вкус: «Летят журавли» Калатозова, «Карнавальную ночь» Рязанова, «Сорок первый» Чухрая... В это время расцвёл «Ленфильм», на экраны вышли «Укротительница тигров» Кошеверовой и Ивановского, «Два капитана» Венгерова, «Дело Румянцева» Хейфица... Хорошие фильмы стала снимать киностудия им. Довженко, мелодраматичные, в индийской манере, как, например, картина «Пути и судьбы» с Юрием Саранцевым, Георгием Юматовым, Роланом Быковым, Валентиной Ушаковой. На Одесскую студию тоже приехали молодые талантливые режиссёры, в том числе Марлен Хуциев. И старый кинематограф перестал быть интересен, а внимание привлекали малоизвестные молодые ребята, пусть и ошибающиеся, но задорные и смелые.

Вообще, это таинственное явление, в котором хочется разобраться: почему в какой-то момент возникает усталость от старого? Во многих сферах, в том числе и в кино. В одно и то же время у людей складывается общее ощущение, что прежние формы устарели.

Почему казавшееся естественным и даже модным вдруг начинает выглядеть архаикой? Это как будто биологический процесс, необходимый для выживания вида. словно заложенный природой инстинкт обновления.

Зритель в театре долгое время может воспринимать как должное, что возрастная актриса с громким именем воплощает на сцене образы юных героинь. Скажем, великая Бабанова играла, а великая Уланова танцевала Джульетту, а им едва ли не под пятьдесят уже было. Но вдруг зритель перестаёт мириться с таким положением, его нутро начинает требовать смены поколений, и смена происходит, но уже как слом старого, как революция.

Мы в нашем кино плохо умеем управлять этими процессами, в отличие, скажем, от американцев. У них замечают новое лицо, новый талант даже в проходном фильме, берут на заметку, и вот уже этот подающий надежды появляется в следующем проекте рядом с настоящей звездой — так ему поднимают авторитет, убеждают публику, что этот новенький перспективен. Так было с Томом Крузом, который блеснул в фильме «Лучший стрелок», а в следующем — «Цвет денег» — уже появился на экране в компании с Полом Ньюманом. Похожая история была и с Дастином Хоффманом, который засветился в картине «Выпускник», а в последующих фильмах оказался партнёром артистов со звёздным статусом и набрал нужный вес и авторитет. Это проверенный метод, с помощью которого создают имена, и вскоре дебютант самодостаточен, сам по себе без чьей-либо помощи привлекает зрителя и обеспечивает сборы.

Целое поколение артистов в какой-то момент теряет былую народную любовь. Выражаясь политологической терминологией, теряет легитимность. В политике та же история. Сталин тоже мог потерять любовь, надоел бы со временем. Таким же образом назрела необходимость смены политических поколений в конце 70-х, и перестройка оказалась запоздалой реакцией на запрос общества. Возможно, случись она вовремя, и не были бы реформы Горбачёва столь болезненны. Но мы не умеем вовремя — ни в кино, ни в театре, ни в политике.

Так и в советском кинематографе 50-х стало скучно, неинтересно наблюдать за «стариками»: Борисом Андреевым, Кадочниковым, Крючковым, Ладыниной, Макаровой... Отрезало в один момент, хотя совсем недавно мы ими восхищались.

Ещё работал Герасимов, который снял гениальный «Тихий Дон». Ещё продолжали работать мэтры, классики, но какие-то их картины уже было просто невыносимо смотреть. Вот, например, «Убийство на улице Данте» — фильм, который пользовался успехом у зрителей, но, когда Михаил Ромм в 1956 году показал картину во ВГИКе (была такая традиция: маститые режиссёры представляли свои новые фильмы студентам), аудитория, можно сказать, премьеру освистала. Фильм посчитали — ни больше ни меньше — позором.

Реакция студентов ВГИКа вполне объяснима. Сценарий был написан в 40-е годы, и на нём уже темнела патина древности. Фильм был сделан по крепким законам кинематографа 30-х годов, театрального по своей природе. Но к середине 50-х уже наступила смена поколений. Посмотрите после фильма 1956 года «Убийство на улице Данте» фильм 1957 года «Летят журавли» и вы поймёте, чем была беременна новая кинематографическая эпоха.

Менялась парадигма, приходило время таких картин, как «Летят журавли», «Баллада о солдате». Возникали новые актёрские типажи, нестандартные операторские решения. И в один момент возникало понимание: именно так и надо снимать!

Такая же смена поколений происходила и на Западе. Великий итальянский кинематограф предложил своё судьбоносное открытие — неореализм. Стиль, который, как это ни парадоксально, возник во многом от бедности, от невозможности работать в дорогостоящих декорациях, павильонах. Молодым режиссёрам приходилось снимать едва ли не на коленке, а это диктовало новую интонацию, новую драматургию, новую эстетику. Наверное, целое десятилетие итальянцы доминировали, диктовали моду для всего миро-

вого кинематографа. Не отставали и французы, и вообще европейцы, прошедшие через Вторую мировую войну.

В начале 50-х на Западе возникло новое кино, в Америке появились актёры с новой манерой игры. В первую очередь — Марлон Брандо, блеснувший в фильме «Трамвай „Желание“» и Джеймс Дин, который прославился несколькими картинами («К востоку от рая», «Бунтарь», «Гигант»). Обоих этих актёров открыл замечательный американский режиссёр Элиа Казан, человек с очень непростой судьбой. Был коммунистом, потом отрёкся от этих идей, а во времена маккартизма коллеги обвинили его в предательстве, стукачестве. Сейчас не принято вспоминать об этих страницах истории Соединённых Штатов, а ведь тогда очень многие американские творцы подверглись репрессиям за коммунистические взгляды. Даже когда в 1999 году, в 90-летнем возрасте, Казан получил Оскар за вклад в мировой кинематограф, это вызвало бурные протесты в актёрско-режиссёрской среде Голливуда.

Мне довелось с Казаном познакомиться, когда он был уже глубоким стариком. Громадный режиссёр, открывший, что называется, новую веху в кинематографе — по масштабу замысла, киноязыку, способу существования актёров.

В своё время меня очень удивило, что классик польского кино Анджей Вайда (который уже снял к тому времени замечательные фильмы «Поколение» и «Канал») буквально за руку водил Збигнева Цибульского в кинозал, показывая ему новую манеру актёрского существования на примере Джеймса Дина и Марлона Брандо. Вайда работал над новой картиной «Пепел и алмаз», и он уже наверняка сам нащупал этот путь, этот новый стиль, а фильмы Казана, скорее всего, подтверждали правильность его собственных режиссёрских решений.

Первой «оттепельной» картиной стала для меня «Школа мужества» Владимира Басова и Мстислава Корчагина — экранизация «Школы» Гайдара. Совсем молоденький четверокурсник Школы-студии МХАТ Лёня Харитонов сыграл

свою первую роль, а позже он по-настоящему прославился фильмами про Ивана Бровкина. Вскоре фильмы эпохи «оттепели» пошли косяком: «Тревожная молодость» Алова и Наумова, «Дом, в котором я живу» Кулиджанова и Сегеля, «Летят журавли» Калатозова, «Баллада о солдате» Чухрая, другие картины. Но самым ярким фильмом того периода останется для меня «Весна на Заречной улице». Эта картина в 1957 году произвела ошеломляющее впечатление. Так совпало, что я как раз был влюблён в девушку, чем-то похожую на главную героиню картины Хуциева. И в сознании моём установилась причудливая связь между киношной историей и повседневной жизнью. Неожиданное пересечение условного и реального натолкнуло на смелую мысль, позволило задуматься об актёрской профессии применительно к собственной персоне. Осознавая революционность идеи, я робко признался себе, что хочу стать актёром кино. Но сказать об этом кому-то в Астрахани, поделиться вслух подобными планами было невозможно. «Кем ты хочешь быть?» — «Киноартистом». Смех да и только.

Сравнивать ситуацию с нынешними временами не стоит, сегодня всё-таки другое представление о мобильности. А в 50-е поговорка «Где родился, там и пригодился» имела буквальный смысл. Люди в основном жили оседло, поездка в другой город — разве что на похороны родственника. Общественные процессы, когда люди стали переходить из одного социального слоя в другой, активно начались только в 60-е. Так что идея стать киноартистом могла восприниматься в лучшем случае как блажь, а скорее — откровенной глупостью.

Важным событием моего юношества стало появление в нашей школе ещё одного новичка. К тому времени Дима Першин переехал в другой район, поменял школу, и мы стали видеться редко. А пришёл к нам Виля Волков — роскошный парень, который с ходу покориł школьную сцену, поразил искромётным талантом, но у меня, как и в случае с Паршиным, совершенно не было чувства зависти — я лишь во все глаза наблюдал, пытался разобраться: *как это сделано?*

Мне очень не хватало информации, и я, можно сказать, вцепился в этого парня, пытаюсь разобраться во внутреннем устройстве его дарования. Как у него получается с такой свободой и раскованностью выходить на сцену в образе Шванди в «Любови Яровой» и мгновенно завоёвывать зал? Из-за чего в этого лёгкого и разбитного парня влюбляются даже учительницы? И это не метафора: после школы он действительно женился на одной из учительниц нашей школы.

Я тоже выходил на сцену, но и помыслить не мог, что могу конкурировать с Волковым. По большому счёту на концерте или спектакле я просто «принимал участие в общественной жизни», выполнял комсомольское поручение.

Но тут пошли разговоры о поступлении, и кем-то была произнесена вслух идея: а не поехать ли в Москву, а не попробовать ли... И я стал готовиться: читал книги о кинематографе, обязательно покупал очередные номера журналов «Советский экран» и «Искусство кино», с жадностью поглощал сведения о судьбах актёров, узнавал, как они оказались в Москве, откуда приехали.

Было время, когда место на олимпе советского кино занимали Николай Крючков, Борис Андреев, Пётр Алейников, но в 40-е годы, когда резко сократилось кинопроизводство, они исчезли из поля зрения, а появившись опять после оживления кинопроцесса, выглядели уже стариками. Потом года два-три главным артистом СССР считался совершенно замечательный Георгий Юматов, а уже ему на смену пришёл Николай Рыбников. Это был новый герой новой эпохи, новый социальный типаж нового советского кино. Рыбников выстрелил в нескольких блестящих картинах подряд: «Весна на Заречной улице», «Высота», «Девчата»... Этот простой парень из глубинки стал визитной карточкой целого поколения, и на его примере я стал понимать, что не боги горшки обжигают, ведь Рыбников приехал в Москву из районного центра Калач Сталинградской области и умудрился стать артистом номер один.

5

Об отношениях с противоположным полом,
песнях Ива Монтана, несостоявшейся карьере
военного, а также о том, как опасно бывает
ввязываться в идейные споры

Когда я был в 8-м классе, в стране произошло событие тектонического свойства: отменили раздельное обучение и нас соединили с девочками, что удачно совпало с пробуждением либидо. Мы принялись азартно паяльаться на одноклассниц, правда, до романов дело ещё не доходило — одноклассницы портфель до дому едва разрешали донести.

Однако у меня был драмкружок, а там — Нонна Богунова, звезда этого самого драмкружка. Симпатичная девочка, чем-то похожая на Нину Иванову из «Весны на Заречной улице». Мы с ней делали отрывок для школьного вечера из «Русских женщин» Некрасова:

- В Нерчинск! Закладывать скорей!
- Пришёл я — встретить вас.
- Велите ж дать мне лошадей!
- Прошу помедлить час.
Дорога наша так дурна,
Вам нужно отдохнуть...
- Благодарю вас! Я сильна...
- Уж недалек мой путь...

Даже сейчас стихи эти помню — так был влюблён!

Вообще людям свойственно, вспоминая молодые годы, горевать об ушедшем. Фраза «Где мои семнадцать лет» отзывается ностальгией едва ли не в каждой душе, но меня

совершенно не вдохновляет перспектива вернуться в молодость. Потому что как минимум на 90 процентов она была заполнена проблемами полового созревания, а точнее говоря — похотью. Едва ли не вся моя молодая жизнь оказалась скомкана переживаниями об отношениях с девочками, размышлениями, а кто я в этих отношениях, а можно ли меня любить, а кого я люблю сам и люблю ли. Да, возникало и чувство влюблённости, но всё же преобладало похотливое состояние, которое затуманивало мозги и заставляло не только искать славы и проявлять себя в творчестве, но и совершать глупейшие поступки. Я мог мчаться куда-то на край города в надежде, что на очередном свидании что-то срastётся, возвращался разочарованным, а потом на горизонте возникал другой вариант, и моё повышенное либидо заставляло снова срываться с места.

Ощущения, которые я испытывал в эти годы, можно сравнить с реакциями кокер-спаниеля, которого мы завели в начале 80-х. Редкий оказался кобель. Главное для него было обнять передними лапами хотя бы что-нибудь — человеческую ногу, ножку стола, стула или рояля — и начать характерные телодвижения. В нашем кокере я узнавал себя в юношестве. И, надо сказать, эта похотливость очень меня тяготила.

Дело не во влюбчивости, а именно в страстном желании немедленного обладания. Я помню, была у меня одноклассница, и однажды на одном из уроков мы оказались с ней на последней парте. И вот каким-то образом я совершенно случайно задел рукой её грудь. И, к моему удивлению, она не отпрянула, а наклонилась, положила голову на парту, и прямо во время урока я стал её незаметно для окружающих трогать. Учительница что-то объясняет, а я сижу и мну грудь одноклассницы, начиная потихоньку сходить с ума от желания, но тут учительница приглашает: «Меньшов, к доске!» А как я пойду, когда от возбуждения парту могу поднять без помощи рук. И я говорю с вызовом:

— А чего это вы меня всё время вызываете?

— Как ты разговариваешь? — возмущается учительница.

— Всё! Я не стану отвечать!..

И, прикрываясь портфелем, выхожу из класса.

... Короче говоря, у меня резко снизилась успеваемость. Мы учились с Нонной в разных сменах, и я стал пропускать собственные занятия: вместо школы бежал к ней домой. Близости у нас не случилось, но всё же прикосновения, ласки, поцелуи и объятия были. А ещё была подруга, которая, интригуя, из зависти завела со мной роман. В общем, вхождение в мир сложных отношений с противоположным полом проходило у меня драматично и бурно. И всё это, безусловно, оказалось гораздо важнее учёбы. Школу я окончил, можно сказать, по инерции.

Стали мы с товарищами планировать, куда ехать поступать. Товарищи: Виля Волков и Юра Пушкарёв — тоже из самодеятельности, красавец, немного похожий на Грегори Пека, девчонки от него просто падали. К тому времени я уже освоил новый жанр — исполнял со сцены песни Ива Монтана. Им тогда увлеклись многие, его песни ворвались в нашу жизнь благодаря Сергею Образцову, который сделал цикл радиопередач о знаменитом французском шансо-не. Монтан заворожил страну, у нас его перепели многие исполнители, среди прочих, например, Глеб Романов, в его варианте песня на французском предварялась русским речитативом:

«Я песнь о парижских бульварах спою,
Где толпы гуляют простых парижан,
Кому посвятил эту песню свою
Любимец народа — певец Ив Монтан...»

Вступал оркестр, и начиналась песня:

«Как я люблю в вечерний час
кольцо Больших бульваров
обойти хотя бы раз.
Там дух французский не угас.
Камни старых зданий
Там хранят следы восстаний...»

Я тоже имел успех. Признание моих сольных выступлений, конечно, вдохновляло, хотя, надо заметить, я был свободен от каких-либо проявлений звёздной болезни. Видимо, потому, что всегда относился к себе чрезвычайно критично. Я настолько загнал себя в угол своими дневниками, так настойчиво доказывал себе собственную несостоятельность, что мне хватило критического задора на всю будущую жизнь, и, откровенно говоря, мне до сих пор не удалось преодолеть этого комплекса. Если на какое-нибудь моё замечание последует ответ: «На себя посмотри», я сразу осекусь и крепко задумаюсь: а действительно, какое я имею право критиковать? И применяю в отношении себя пушкинскую формулу: «Из всех детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он...» В смысле — я.

Мне вообще кажется, что для меня кинорежиссура (именно кинорежиссура, а вовсе не актёрская профессия) оказалась единственной возможностью приобрести к себе уважение. Когда я смотрю свои фильмы, то совершенно искренне, без всякого кокетства, удивляюсь: неужели это я придумал, неужели это я сделал?

В 1957 году я окончил школу с серебряной медалью. Надо было начинать взрослую жизнь, решать с поступлением в институт, но выяснилось, что мои товарищи, с кем я планировал покорять Москву, отказались от этой авантюрной идеи, и тогда возник вариант с военным училищем. В то время военкоматы вели активную агитацию среди выпускников, так до меня дошли сведения о Минском высшем инженерном радиотехническом училище. С серебряной медалью поступить туда не представляло особой сложности, но больше меня прельщало путешествие по стране, да ещё и бесплатное, да ещё и с остановкой в Москве — манящем городе, который представлялся чем-то таинственным и недоступным. Современному читателю трудно представить ощущение провинциала середины 50-х годов, когда не существует телевидения, когда под рукой нет интернета, а образ столицы Советского Союза складывается из весь-

ма разрозненных фрагментов: кадра из кино, фотографии в газете, иллюстрации в учебнике, картинки на конфетной коробке... Детские воспоминания о посещении Москвы к тому времени стёрлись, и любопытство возобладало — я отправился в Минск начинать карьеру военного.

Из Астрахани в общем вагоне организованно отправилась целая группа. Помню, как в свободное время до пересадки на поезд «Москва — Минск» вся наша компания абитуриентов бросилась на Красную площадь, потом на улицу Горького, как бродили по столице, напитываясь волшебством столичной жизни, как пришли без ног на заполненный народом Белорусский вокзал и рухнули спать, постелив на полу газеты.

Когда добрались в столицу БССР, выяснилось, что поступающих в Минское военное училище необычайно много, а потому даже среди медалистов объявлен конкурс. Из-за наплыва поступающих жили мы в палатках. Там в ожидании экзаменов я познакомился и быстро подружился со столичным парнем Валерой Христининым. Мы с ним много общались, даже умудрялись каким-то образом выпивать в свободное время. Помню, как Валера обнаружил в газете сенсационную новость и ахнул: наш прыгун в высоту Юрий Степанов установил мировой рекорд — 2.16! Он на сантиметр превзошёл тогдашнего мирового рекордсмена, американца Чарльза Дюмаса, причём наш легкоатлет прыгал старомодным «перекидным» стилем. Этот рекорд стал торжеством советского спорта: наконец была прервана сорокалетняя гегемония американцев в прыжках в высоту. Позже блистал Брумель, другие наши прыгуны, но первый рекордсмен всё-таки Юрий Степанов. Помню, как мы с Валерой бегали ночью по палатке, будили народ и кричали восторженно: «Два шестнадцать! Два шестнадцать!»

Нам предстояло сдавать математику — письменно и устно. На письменном без особых усилий я получил пятёрку, а вот на устном картина изменилась. Педагог общался

с нами по-военному строго, и мне это не понравилось. Я стал отвечать с вызовом, шутливо реагировал на холодный начальственный тон. Меня сразу насторожила эта командная манера, я подумал: неужели меня ждёт такое обращение ближайшие несколько лет? Слава богу, что мои враждебность и несдержанность были оценены по достоинству — двойкой. Что называется, судьба отвела. А ведь мог сидеть годами где-нибудь в войсковой части ПВО на Чукотке, обслуживая радиолокационную станцию.

Вместе с новым другом, благополучно прошедшим по конкурсу, я вернулся в Москву и остановился у него на несколько дней. Тогда в столице как раз проходил Международный фестиваль молодёжи и студентов — эпохальное для страны событие. То фестивальное лето в Москве стало поистине историческим, это был праздник свободы, взрыв раскрепощения. Город не спал по ночам, люди танцевали на улицах, вокруг звучала музыка, какое-то немыслимое количество негров гуляло по столице.

Помню эпизод на Охотном Ряду около гостиницы «Москва». Идём мы с Валерой Христининым и видим: стоят трое американцев, развязных таких, наглых. Пригляделись — они выясняют отношения с мужиком, явно из наших советских, а Валера хорошо знал английский язык и решил помочь с переводом. Мужик оказался таксистом, а американцы почему-то завели разговор о политике, напомнили про недавний пленум ЦК, мол, как же так: Молотов и Каганович столько лет были вашими руководителями, а их в один день сместили с должностей... «Ну и что, — парировал таксист, — это наше дело, мы так решили!»

В общем, совершенно дурацкий спор. Американцы задираются, а наш толком не знает, что ответить. Тем более, этот пленум действительно поставил страну в затруднительное положение, хотя, конечно, после XX съезда нас уже трудно было чем-то удивить.

Наконец иностранным гостям надоело препираться, отошли они в сторону и зачем-то подозвали за собой Вале-

ру. Через пару минут возвращается Христинин с перевёрнутым лицом и шепчет, когда мы отошли, что американцы сказали ему на чистом русском языке: «Пойди скажи этому мудаку, чтоб не ввязывался в идейные споры...» Ребята были молодыми кагэбэшниками, наверное, развлекались таким образом, а может, и задание выполняли, кто знает...

В эти три дня я побывал в совершенно невероятной атмосфере и осознал, что столица Советского Союза – мой город. Что именно здесь нужно жить – в прекрасной, свободной, шумной Москве. Именно здесь я должен учиться, и, разумеется, не на военного. С такими выводами я вернулся в Астрахань и пошёл работать на завод.

Пойти в рабочие было для меня вполне естественным решением. В те времена энтузиазм поощрялся, молодёжь звали покорять целину, ехать на стройки в Сибирь. Советские люди считали своим долгом приносить пользу стране, шла широкая патриотическая кампания. Условия на целине, на «стройках коммунизма» были, конечно, непростые, но и в преодолении трудностей – своя романтика. Выходили фильмы, появлялись книги; мне запомнилась повесть «Продолжение легенды» Анатолия Кузнецова, которого в нынешние времена обычно представляют как автора романа о «Бабьем Яре». В 70-е он сбежал за границу, отрёкся от своего советского прошлого, работал на радиостанции «Свобода», а начинал с патриотической книги о строительстве Иркутской ГЭС.

А ещё гремели Братская ГЭС, Ангарская ГЭС, Красноярская ГЭС. Созидание на благо Родины было тогда главным мотивом в искусстве, тема была модной, и я тоже хотел совершать трудовые подвиги, получить рабочую профессию, ведь это так красиво, так романтично!

В общем романтическом порыве комсомольских строек впервые я принял участие раньше: после 8-го класса уговорил отца отправить меня на строительство Куйбышевской ГЭС. С его помощью, «по знакомству», я и оказался

во время летних каникул в экипаже землечерпалки «Пятилетка» — судна, с помощью которого возводилась плотина, перекрывалась Волга, создавалось Куйбышевское водохранилище — Жигулёвское море. Землечерпалка и сама по себе — хитроумное инженерное сооружение, а в целом строительство ГЭС — колоссальная по сложности техническая задача, без всякого преувеличения, титанический труд тысяч людей. Не впечатлиться всем этим монументальным зрелищем было невозможно, и я (хотя и был всего лишь матросом на подхвате) вернулся после каникул окрылённый, гордый собой. Да ещё и заработал на отличные часы «Победа», а в те времена далеко не каждый взрослый мог себе позволить такую роскошь.

Завершения строительства ГЭС я не застал: нужно было возвращаться в Астрахань на учёбу. И вот пришёл я после каникул в школу и расхвастался перед одноклассниками: а вот у нас на «Пятилетке», а вот наша «Пятилетка»... Так я доставал своей «Пятилеткой», пока в один прекрасный день кто-то из соучеников не ткнул мне в нос свежим номером газеты «Правда», торжествуя указав на статью, в которой рассказывалось о «трусливом экипаже „Пятилетки“, капитан которой...»

Журналист главной газеты страны представил дело так, будто на одном из этапов перекрытия Волги капитан землечерпалки оказался перестраховщиком, отказался производить опасный маневр. Получалось, экипаж состоял из трусов, а я-то не понаслышке знал, что на «Пятилетке» никакие не трусы, а настоящие морские волки. Я был уверен: если капитан отказался, значит, имелись веские основания. Когда перекрывают реку, образуется перепад высот, сильное течение и судно может легко утащить потоком в бездну. А ведь капитан отвечает не только за вверенное плавсредство, но и за жизнь экипажа... После этой статьи капитан «Пятилетки» несколько лет добивался правды, опровергал в судах выводы нечистоплотного журналиста и в конце концов доказал свою невиновность. Справедливость восторжествовала.

Я устроился учеником токаря на Астраханский судостроительный завод, где меня поставили точить болты с гайками. Надо сказать, это не такое простое дело. План было выполнить трудно, но я выполнял, хотя токарь из меня вышел хреновый; у меня вообще все, что руками надо делать, выходит плохо.

Работа особо не вдохновляла, но знакомство с заводской жизнью, общение с простыми работягами позже мне пригодилось. Как у Давида Самойлова: «И это всё в меня запало и лишь потом во мне очнулось...» Очнулось, когда я пришёл в режиссуру, уже на фильме «Москва слезам не верит».

Параллельно я готовился к экзаменам на актёрский. К лету мне уже казалось, что я вполне прилично декламирую стихи, читаю прозу, готов ехать в Москву, и в июне с завода я уволился.

Перед поездкой в столицу встретился с Першиным, и Дима сообщил не без хвастовства, что с помощью московских родственников передал свои фотографии во ВГИК, и там сказали: «Пусть этот парень приезжает, он непременно поступит». Паршин показал, какие именно фото передавались в институт. На снимках Першин кривлялся, корчил рожи, демонстрируя таким образом актёрские способности. Я, стесняясь, сказал Диме, что тоже собираюсь в Москву, и мой товарищ снисходительно улыбнулся. У него к тому времени сложилась прочная репутация крупного астраханского чтеца. Он уже декламировал стихи на торжественных правительственных концертах, покорял зал царственной осанкой, соответствующим моменту выражением лица — короче говоря, безусловным талантом.

Я предложил: «Может быть, вместе поедем?» «Ну поехали», — высокомерно ответил Дима.

Мы встретились на вокзале: у Димы мягкий вагон, у меня общий. Поначалу социального неравенства я не ощущал и на первой же остановке побежал к нему по перрону (раньше поезда надолго останавливались). Подхожу, а из мягкого вагона выходят вельможи, сановники. В пижамах. И Пер-

шин тоже в пижаме. И чувствую я: накоротке общаться как будто даже неудобно, хочется с ним на «вы» перейти.

За двое суток мы доехали до столицы, и Першин снизошёл — взял меня к своей родне: у меня вообще никаких вариантов обустроиться в Москве не было. Мы остановились в шикарной генеральской квартире Диминых родственников на улице Образцова. И снова, как и в прошлый приезд в Москву, я оказался во власти ярких чувств и неповторимых эмоций. Прекрасная летняя Москва, мы покупаем бутылку портвейна и вечером вышиваем, мы возбуждены от впечатлений, воодушевлены перспективами, мы вот-вот лопнем от счастья, а на следующий день идём подавать документы, уже стоим возле ВГИКа, а ноги отказывают, не можем переступить порог: страшно.

Сели неподалёку от входа на лавочке, смотрим с трепетом на небожителей, которые впархивают и выпархивают из храма советского кино. Наконец, собрались с духом, вошли и дрожащими голосами стали выяснять, где подают документы. Нашли приёмную комиссию, и тут выяснилось, что аттестат нужно сдавать только перед третьим туром, что сначала предстоит консультация, а уж после — первый тур, потом — второй тур и, наконец, решающий третий...

Смотрим по сторонам: господи, сколько же народу идёт поступать! Но многие отсеиваются прямо на консультации — по возрасту, из-за физических недостатков, за явной несостоятельностью. Подали мы документы, Дима сразу отправился читать свою программу — и не прошёл.

Першин стоял совершенно растерянный; а я и раньше-то не решался пойти на консультацию, а теперь, после провала маститого чтеца, и подавно боялся заходить.

Но тут мы с Першиным узнали от других абитуриентов, что в Москве есть ещё четыре вуза, где получают актёрскую профессию: Школа-студия МХАТ, ГИТИС, Щепкинское и Щукинское училище. И поскольку до третьего тура аттестат предъявлять не требуется, можно сдавать экзамены в каждый. Мы с Димой воодушевились и пошли бродить проторённой тропой из института в институт общим абитуриентским стадом.

Длилось это несколько дней, я везде провалился, но провалился и Першин, что стало для него огромным потрясением. Дима представлял дело так, будто внешние данные у него слишком специфические, кавказские. Мне эта версия не кажется правдоподобной. Скорее, он придумал её для самооправдания: надо было объяснить знакомым и родственникам, почему король астраханской эстрады провалился. Скорее, он не понравился педагогам московских театральных вузов своим провинциальным величием. Оказалось, что его астраханские прибабасы в столице не прокатывают, там вообще не любят такой тип, предпочитают иметь дело с искренней юностью, пускай даже неловкой. Им нужен чистый лист. Многие поступающие даже предпочитают скрывать от комиссии имеющийся опыт, профессиональную оснащённость. Хотя, конечно, есть и другие примеры. По крайней мере два народных артиста СССР поступили в Школу-студию МХАТ, поработав прежде в провинциальных театрах, — Евгений Евстигнеев и Леонид Броневой. Евстигнеев даже Ленина поиграл во Владимирском театре, причём создавал образ уже немолодого Владимира Ильича, а Броневой служил в Магнитогорском и Оренбургском театрах.

У меня оставался ещё один шанс — неиспользованная консультация во ВГИКе. На моё счастье, педагоги проявили благосклонность, пропустили на первый тур, а это давало право на время экзаменов поселиться в общежитии. У родственников Першина оставаться было неудобно, ведь Дима, провалившись, собирался уезжать в Астрахань.

Вообще интересно: где растворяются эти толпы абитуриентов, осаждающих театральные вузы? Ведь поступают единицы, а конкурс — двести человек на место. Куда деваются сотни, тысячи, сотни тысяч претендентов, которые усиленно готовятся к поступлению в театральный, берут уроки актёрского мастерства, строят планы, но по итогам экзаменов в подавляющем большинстве терпят фиаско? Они смиряются с поражением, возвращаются к нормальной жизни,

соглашаются, что двигала ими юношеская дурь? Или вспоминают на склоне лет с гордостью: «А я тоже подавал надежды»? Или сетуют: «Меня несправедливо отвергли»? Или вообще стараются не вспоминать, стесняются бесславной страницы биографии?

Это ведь и судьба Димы Першина, который, провалившись в Москве, вернулся в Астрахань, успел на экзамены и поступил в медицинский институт: отец у него был крупной фигурой, руководил военным госпиталем. Мы поддерживали связь, у себя в меде он стал лидером – первым в самодеятельности, секретарём комитета комсомола, звездой КВН. Поначалу, на первых курсах, он ещё намеревался бросить учёбу и снова поехать в Москву поступать на актёрский. Медицина – это как бы не всерьёз, он ещё докажет, что его талант недооценён. Потом Дима решил, что вернётся к актёрскому призванию, когда получит диплом врача. И в итоге начал делать успешную врачебную карьеру. У Димы всегда были знакомства, кто-то за него то и дело хлопотал. Поднимаясь по служебной лестнице, он стал, наконец, замом главного врача одной из московских клиник. В 1980 году, когда уже была закончена «Москва следам не верит», я звал его на просмотр, хотел показать новую картину. У Димы почему-то не получалось, я проявлял настойчивость и вдруг подумал: может, он мне завидует? Помню, позвонил ему, говорю: «Ну что, когда ты придёшь?..» И тут прозвучало совершенно для меня неожиданно: «Господи, ну как ты надоел со своим приглашением!.. Не знаю... Попробую... У меня командировка в Ригу – симпозиум... Может быть, через неделю получится...»

Однако через неделю он не пришёл. Потому что погиб где-то под Юрмалой: ехал с коллегами-врачами на этот самый медицинский симпозиум, вышли они из машины покурить, и прямо на шоссе сразу троих сбил насмерть какой-то «Москвич».

Если бы всё-таки Дима Першин поступил во ВГИК, думаю, в современной жизни он стал бы выдающимся продюсером – в кино или на телевидении. У него явно был к этому талант.

6

О том, как формируется общественное мнение,
о съёмках в массовке, причинах,
не позволивших пойти в армию,
и астраханской театральной студии

Итак, у меня появилось место для ночлега и время, чтобы по-настоящему познакомиться с Москвой. Я покупал за тридцать копеек билет в театр, смотрел спектакли и даже заметил малоизвестный среди широкой публики коллектив под названием «Современник»...

До какой же степени переменялась жизнь за прошедшие шестьдесят лет! Какие огромные информационные возможности появились! Современному молодому человеку трудно представить, что когда-то не было интернета и даже телевизора. Телевидение как массовое явление возникло только к концу 60-х, а вещание шло по одному-двум каналам.

Мелькнёт острая статья в газете — и народу на месяц впечатлений и пересудов. Вот напечатали разоблачительный материал «Звезда на „Волге“», критикуют самого Марка Бернеса! Он якобы лихачил на своём авто, нарушал правила, требовал от гаишников особого к себе отношения. После громкой публикации любимец публики на несколько лет исчезает с экранов, его песни почти не звучат по радио... Похожая история с Гурченко. Выходит статья «Чётка налево», и народ убеждён, что звезда «Карнавальная ночи» совсем зазналась, да к тому же замешана в тёмных делишках с левыми концертами. Никаких альтернативных мнений в прессе не появится, никакой возможности оправдаться не существует. Нужно ждать годами, пока утихнет

скандал и можно будет постепенно восстановить репутацию. Гурченко на всю жизнь обожглась после этой истории, хотя и несколько преувеличила её последствия. Никакого десятилетнего простоя в её творческой биографии, конечно, не было, просто доставались не те роли, о которых мечталось...

Мы жили в информационном вакууме — и в столице, и особенно в провинции. А сегодня человек из глухой деревни вполне может составить представление о режиссёрской профессии. У меня учатся студенты из глубинки, и они нисколько не проигрывают москвичам: знают историю кино, не отстают от моды. Услышишь о каком-то интересном фильме — пожалуйста, просто войди в интернет и смотри его, изучай по кадрам. В принципе, можно разобрататься в премудростях режиссуры, даже если у тебя нет наставника. А я помню свою неосуществлённую мечту, когда впервые увидел «8½» Феллини. Мне так захотелось кадр за кадром, на монтажном столе разглядеть это чудо чудесное, диво дивное. Изучить в деталях непрерывное волшебство, фокус, с помощью которого меня заставляют волноваться, смеяться, удивляться, испытывать невероятные чувства и эмоции.

Мои представления об искусстве складывались из журналов, в том числе специальных — «Искусство кино», «Театр». А ещё я читал книги о кино, узнавал о великих режиссёрах, актёрах, выдающихся произведениях киноискусства. Постепенно у меня складывалась иерархия ценностей, но всё это не было подтверждено необходимым опытом, обширными зрительскими впечатлениями. Фильмов, о которых писали в книгах и журналах, я чаще всего не видел, знал о них только в пересказе киноведов, но и такой способ познания оказался захватывающе интересен. Я постепенно, окольными путями, подступался вплотную к волшебному миру кино.

Помню, например, как возник у меня в воображении кинематографический образ Жана Габена. И только спустя годы удалось увидеть фильмы «День начинается», «Набе-

режная туманов», где он ещё до войны снимался с Мишель Морган. Из разных источников, обронённых фраз, ссылок, упоминаний складывалось представление о значимости того или иного кинематографического или театрального явления.

Нынешним критикам ловко удаётся формировать общественное мнение, «представления о прекрасном», заставить публику двигаться в заданном направлении. Совместными усилиями киноведов, театроведов, журналистов внедряется мысль, что этот спектакль — нетленка, а этот режиссёр — гений. Радиостанция рекламирует литератора, литератор поощрительно высказывается о режиссёре, режиссёр признаётся в любви радиостанции. И так по кругу.

Похожим образом в 50-е годы появлялись упоминания о «Современнике» — как бы разрозненные отклики, почти случайные отголоски. Таким образом меня направили в нужном направлении, убедили, что «Современник» — стоящая вещь. В то время они играли при полупустых залах, на разных площадках, например в саду Баумана на сцене летнего театра. Помню пьесу Розова «В поисках радости», другие спектакли. Уже этим летом я успел узнать «Современник» и влюбиться в него...

Оказавшись в общезитии, я окончательно утвердился в мысли, что сделал правильный выбор — до такой степени всё было захватывающе интересно. В одной компании, кроме артистов, оказывались режиссёры, сценаристы, киноведы, операторы. Там постоянно велись творческие споры, сталкивались мнения, разговоры были возвышенными, суждения — парадоксальными. Я мало что понимал, но внимательно прислушивался.

Только что вышел на экраны «Идиот» Пырьева. Помню, стали его обсуждать, и кто-то заговорил о глубоком символическом смысле красного цвета. Как! Ещё и цвет важен? Господи, оказывается, надо обращать внимание на цветочное решение! И я восторженно впитывал новые сведения, делал открытие за открытием, жадно прислушиваясь к раз-

говорам абитуриентов. А ведь были ещё представители высшей касты — студенты! С ними пересекались реже, поглядывали в их сторону с раболепием. До сих пор помню одного парня, который рассказал, как снимался в роли Махно. Для меня это было непостижимым: я разговариваю с человеком, который сыграл роль в настоящем кино! В «Хождении по мукам»! Невероятно!

Шукшин, когда поступал во ВГИК, в своей письменной работе (на режиссёрском факультете это первый этап конкурса) описал происходящее в абитуриентской среде. Тонко подметил типы, среди которых наиболее заметный — «киты». Они высокомерны, убеждают новичков в их творческой ничтожности и провинциальном невежестве. При этом сами, как правило, проваливаются. Я к этому типу, разумеется, не принадлежал, скорее являлся противоположной стороной шукшинской градации — апломб и надменность адресовались мне.

В общежитии я напивался впечатлениями и пребывал в эйфории. «Этот мир мой!» — говорил булгаковский герой, оказавшись в среде литераторов. Теми же словами думал и я, находясь в положении постояльца общаги, населённой экзальгированными творческими личностями. И так же, вслед за героем «Театрального романа», узнав эту среду поближе, пообтесавшись, я с годами немало в ней разочаровался.

Но пока, окрылённый и взбудораженный миром искусства, я шёл на первый тур, совершенно не будучи готовым к экзамену. Даже обязательной басни в моём репертуаре не было — этот жанр категорически мне не давался. Когда я готовился к поступлению, пробовал показывать басни приятелям, и те реагировали в лучшем случае натянутыми улыбками. А ведь басня на экзамене в театральный — это определение характерности, проверка на лицедейство. Ты должен уметь прочесть за ворону, перевоплотиться в лисицу, предстать ягнёнком, прикинуться волком.

Я не только не обладал этим талантом, но даже не хотел им овладевать, вся моя природа противилась такого рода

лицедейству. Но всё же я присматривался к суетливым репетициям в коридорах, заглядывал в аудитории, прислушивался к тому, что и как читают другие. А сам я на первом туре провалился.

Не могу сказать, что это сильно меня расстроило: по большому счёту я был готов к неудаче. Да и сама атмосфера ВГИКа послужила своеобразным наркотиком. Стоит ли предаваться унынию, когда вокруг тебя происходит нечто совершенно немыслимое, феерическое. Здесь, в коридорах института, то и дело попадались знаменитости нашего кино, те, о ком я читал в «Советском экране», кем восхищался, сидя в зале провинциального кинотеатра. Одной из первых моему изумлённому взору предстала Гурченко. Боже, та самая! Она была совсем близко от меня, можно сказать, дышала со мной одним воздухом, по-свойски с кем-то болтала, сидя на подоконнике! Невероятно!

А ещё нас, абитуриентов, позвали в массовку, и мы поехали сниматься в настоящем кино. Предстояло войти в историю, стать участниками фильма «Добровольцы» — о метростроевцах, о героическом поколении комсомольцев 30-х годов, о тех, кто воплощал в жизнь индустриализацию, побеждал в Великой Отечественной войне.

Натурной площадкой послужила строящаяся в то время станция метро «Рижская». На съёмке мы увидели Михаила Ульянова, который был уже известен по фильму «Дом, в котором я живу». Но там ещё снимались Леонид Быков, Пётр Щербаков, неопишуемой красоты Элина Быстрицкая. Я, потрясённый близостью этих звёзд советского кино, стал их натуральным образом преследовать, сопровождая по всей съёмочной площадке. Ульянов с Быстрицкой репетируют, а я семеню за ними, зачарованно разглядывая и внимая. Вскоре меня оттащили от них почти за шиворот со словами: «Приличней себя ведите, молодой человек».

Нам была поручена важная творческая задача — коллективно пронести мимо камеры какую-то длинную балку. Позже я пошёл смотреть «Добровольцев» в кинотеатр, и сердце моё взволнованно застучало, когда в кадре по-

явился первый из нашей группы. А вот и второй мелькнул, третий, скоро и я должен появиться... Нет, чёрт возьми, обрезали, гады, оставили меня за кадром!

Но тогда на съёмках «Добровольцев» гордость переполняла меня. Пускай я провалился — ничего, перекантуюсь ещё один год и в следующем непременно поступлю.

Приехал домой, а там — повестка в армию. Пошёл в военкомат, начали меня оформлять и уже обрили налысо, но тут на медкомиссии выяснилось, что я кричу во сне. Кажется — что за невидаль? Но врачи признали меня негодным к службе.

Думаю, военкомат принял дальновидное решение, потому что в казарме меня бы точно придушили подушкой. Я ведь не просто разговариваю, постанываю или покрикиваю. Я ору во весь голос. Особенно если выпью. С такой особенностью не гожусь ни в шпионы — провалю всю шпионскую сеть с явками и паролями, — ни в обычные солдаты: выдам во сне номер своей войсковой части... Как-то довелось ехать в одном купе с народным артистом СССР Владиславом Стржельчиком, так он поутру признался: «Вы знаете, я войну прошёл, но эта ночь стала испытанием мощнее!»

В армию меня не взяли, а значит, надо искать работу. И тут мне попало объявление, что Астраханский драматический театр набирает вспомогательную труппу. Сообщалось, что даже будут предприняты усилия для обучения новичков. И, конечно, я побежал устраиваться.

Отец был уверен, что это несусветная дурь, и надеялся, что скоро я образумлюсь. А мать поддержала. Видимо, интуиция подсказывала ей, что стоит доверять выбору сына.

Поддержка была вполне конкретной: когда я работал на заводе, мне дали возможность тратить заработок на себя. А ведь могли и снять с довольствия — взрослый ведь уже. Я получил свободу, мне не нужно было выпрашивать у родителей деньги на карманные расходы, на поход в кино. Мог-

ли они и сейчас, когда я устроился в театр, намекнуть, мол, слезай с шеи, однако же нет — терпели.

Я пошёл устраиваться в театр, прочитал комиссии программу, и меня приняли, но в этот раз я уже не мог сказать себе: «Этот мир мой». Театр был мне малоинтересен, я мечтал о кино, пребывая в убеждении, что настоящие артисты именно там, в кинематографе, а в театре, особенно провинциальном — неудачники. Хотя работал я с замечательными актёрами, которые вполне могли бы составить славу любого столичного театра. Тогда провинция была очень сильна, и астраханский театр, да и вообще волжские театры: Саратов, Куйбышев, Горький — имели мощную театральную традицию. Оттуда время от времени даже приглашали артистов в Москву.

В астраханском театре работали актёры суперкласса, из старой гвардии, а вот с младшим поколением возникла проблема. Те, кто отучился в московских театральных вузах, на родину, как правило, не возвращались, поэтому провинциальным театрам приходилось набирать местную молодёжь, воспитывать для себя кадры.

С яркими впечатлениями, творческими открытиями пребывание в астраханском театре у меня не связано. Главный режиссёр, Михаил Ваховский, не показался мне крупной театральной фигурой. Довольно быстро я обнаружил, к чему сводится режиссура в провинции: главный режиссёр едет в Москву или Ленинград, смотрит там модный спектакль и аккуратно переносит достижения столичной сцены на провинциальные подмостки.

Такой подход стал для провинции правилом, хотя встречались и разного рода исключения. Например, у нас в Астрахани какое-то время работала Лина Самборская — имя, явление, любой крупный город посчитал бы за честь получить её в качестве главрежа. В астраханском ТЮЗе начинал режиссёр Борис Наранцевич, позже он стал заметной фигурой в театральном мире, работал в Нижнем Новгороде.

Серьёзно с нами в астраханском драмтеатре никто не занимался, труппа держала студийцев на дистанции. Её ос-

новой были маститые артисты: Теплов, Спроге, Куличенко, Бородин. Каждый — глыба. По осанке, манере — артисты императорских театров. И вот случилось одно из маленьких чудес: артист Бородин, который руководил театральной студией, предложил мне роль. Серьезную главную роль, да ещё и возрастную, в пьесе Исидора Штока «Якорная площадь». Не знаю уж, чем я ему приглянулся, может быть, просто подошёл типаж. И хотя работа эта не состоялась, для меня оказался важен сам факт: меня заметили, а значит, я чего-то стою.

Иногда студийцам позволяли поучаствовать в спектакле. Один раз мне предстояло выйти на сцену с двумя-тремя репликами, и по такому случаю я пригласил в театр отца. Ему увиденное не понравилось, как и всё происходившее со мной в то время, как не нравился ему театрально-киношный мир, в который я самозабвенно стремился.

В июне я собирался снова ехать в Москву, а в мае подошло к концу обучение в студии астраханского театра. Главный режиссёр собрал нас, чтобы подвести итоги. Одному из студийцев, парню с музыкальным образованием, который иногда аккомпанировал нам на занятиях, Ваховский сказал язвительно: «Вы хорошо играете...» И через паузу добавил: «На баяне... Но вам не нужно быть артистом». И, обращаясь ко мне, продолжил: «И вам я тоже не рекомендую...»

Я, признаться, был обескуражен, хотя и не собирался делать карьеру в Астрахани. Как? Почему? Ведь я совсем не считался в студии последним, да и самому себе таковым не казался. Но почему-то именно мне, видите ли, «не рекомендуют»...

Ваховский перестал быть для меня авторитетом задолго до нелестного отзыва в мой адрес. Однажды он поделился своими впечатлениями о только что вышедшем фильме Вайды «Канал». Поучая нас, студийцев, он объявил свой вердикт: «Посмотрел я картину „Канал“ и теперь говорю не „идите в жопу“, а „идите в канал“...»

А на меня этот фильм произвёл грандиозное впечатление. «Канал» — вторая картина Вайды, она рассказывала о польском Сопротивлении, в ней было множество ярких образных решений.

У меня есть этот дар — увидеть талант, разглядеть его без подсказок и рекомендаций даже в начинающем художнике. Так было с Вайдой, с Хуциевым, с Чухраем.

В одной из книг мне попало такое наблюдение. Девушку спросили, по каким признакам она отличает талантливое произведение. «По щекам. Если щёки краснеют — талантливое». При всей казузности весьма точное объяснение. Столкнётся с талантом — и у тебя что-то происходит на физиологическом уровне. Как будто даже дыхание перехватывает.

Я всегда угадывал талант — и в кино, и в литературе, да и просто в жизни, хотя и не так часто мне приходилось с ним сталкиваться. В окружении моём яркие творческие личности были наперечёт, особенно если сравнить, например, с опытом Михалкова или Кончаловского, которым с детства приходилось то на коленях у Рихтера посидеть, то у Ойстраха, то у Алексея Толстого, то с дедом своим родным пообщаться — прижизненным классиком. Удобно, когда можно сказать: «Я, дедушка, хочу стать артистом или режиссёром...» — «Интересно. Для этого тебе, внучек, нужно вот что...»

Мне советов слушать было не от кого, ждать рекомендаций неоткуда.

И вот я снова приехал в Москву, получил место в общезитии на улице Трифоновской, недалеко от Рижского вокзала. Это был настоящий «шанхай», несколько старых деревянных барачков, в которых долгое время жили студенты театральных училищ. Потом эти бараки снесли, а квартал застроили. Оказавшись там сегодня, я вряд ли смогу сориентироваться, где же было в 1959-м году наше пристанище.

Я уже кое-чему научился, ходил проторённым маршрутом: во ВГИКе провалился сразу, в Школе-студии МХАТ прошёл первый тур, в Щукинском меня тоже допустили ко второму, и это был прогресс. У меня появилась возможность посмотреть, какой репертуар у конкурентов, услышать, как народ читает стихи и прозу. Очень полезный опыт, да и вообще закладка характера, которая была мне необходима для будущих испытаний. Ведь и в этот приезд меня так никуда и не приняли.

О бегстве в Воркуту, планах обуздать
природные стихии, шахтёрских буднях,
последствиях романа с замужней
и романтической мужской дружбе

В общаге я подружился с Колей Щербаковым, он приехал поступать из Казани и тоже провалился. Красивый парень, тоже похожий на Грегори Пека, лихо играл на фортепиано. Я поделился с ним планами: не поеду в Астрахань, стыдно возвращаться. И правда, все мои друзья-одноклассники учатся в наших астраханских институтах: кто в меде, кто в педе, кто в рыбном, а я с серебряной медалью никак не пристроюсь. Приеду и снова мне скажут: «Володь, ну ты что, с ума сошел? Какой из тебя артист? Помаялся дурью и давай уже поступай в нормальный вуз, пока у тебя льготы за медаль действуют...»

После предыдущего провала я слушал эти увещевания, опустив глаза и не зная, что ответить. На актёрский принимали до двадцати трёх, и я уже приближался к роковой возрастной черте. Даже начал задумываться: а может, пойти в режиссёры? Но если идти в режиссёры, надо, наверное, уметь писать сценарии? А как пишут сценарии?.. Узнать об этом в Астрахани было не у кого. В мою бытность не издавалось поваренных книг из серии «Как написать сценарий и продать его в Голливуд». И я пошёл в библиотеку выискивать образцы сценарного творчества из журнала «Искусство кино».

В нашей советской традиции сценарий представлял собой, по сути, литературное произведение. Сейчас пишут просто: описывают действие, приводят реплики. А раньше

излагали проникновенно, с «архитектурными излишествами». И я тоже попробовал написать сценарий, опираясь на свою биографию. Помню начало: «Уставшее за лето солнце карабкалось...» В общем, абсолютная графомания.

Но это сейчас мне легко дать оценку своему наивному творчеству. А тогда я пылко декламировал сочинение товарищам, а те слушали с характерным выражением лица, в котором и чувство неловкости, и желание подбодрить: ведь, с одной стороны, вроде чушь, но и друга обижать не хочется. По окончании чтения один из товарищей мне сказал с несколько наигранным оптимизмом: «Будешь ты режиссёром! Будешь!»

Итак, я сказал Коле Щербакову: «Не поеду в Астрахань, поеду в Воркуту, там у меня две двоюродные сестры». Кроме очевидного нежелания объясняться с родителями, в плане моём содержалась ещё и романтическая мысль. На земле я уже поработал, теперь должен опуститься под землю, а дальше, если что, проявить себя на воде и, наконец, в воздухе. Я намеревался последовательно обуздать все природные стихии.

Коля идеей впечатлился и решил рвануть со мной. Денег у нас было в обрез, а потому ехали мы в общем вагоне поезда Москва — Воркута, несколько суток наблюдая, как за окном меняется пейзаж и погода: чем ближе к Воркуте, тем явственнее ощущалось приближение осени и даже как будто пахло снегом.

Сама Воркута оказалась небольшим городком, но по окрестности вокруг неё располагалось множество шахт с терриконами. Здесь жили дочери маминого родного брата — Муза и Женя. Адрес у меня был, мы с Колей сели в автобус и двинулись за тридцать километров к посёлку шахты № 32.

Заявились мы к Жене и её мужу Виктору как снег на голову. Муж был второй, от первого брака у сестры осталась дочка, и лишней жилплощади у них не наблюдалось. От моего появления, да ещё и вместе с товарищем, родственники мои опешили. Им явно было трудно свыкнуться с мыслью, что с какого-то перепугу им предстоит уплотниться и терпеть не-

удобства. Однако в конце концов спас меня авторитет отца, который сработал даже заочно: в нашем семейном клане его очень уважали. Вдохнув, нас всё-таки взяли на постой.

Женин муж был шахтёром, настоящей горняцкой элитой — работал в лаве. Он приезжал как-то к нам в Астрахань, рассказывал о шахтёрском труде, чем вызвал огромное моё уважение. Я тогда находился под впечатлением от фильмов, книг о стахановцах, трудовых подвигах — в то время магистральной темы советского искусства.

Лава — это и есть место, где добывается уголь. Все остальные участки, службы только обеспечивают главный процесс. На каждом этапе свои сложности, свои риски, везде работа тяжёлая, но именно лава — настоящий ад. В этой преисподней грохочет проходческий комбайн, здесь единственный источник света — фонарик на каске, луч которого изредка выхватывает белки глаз на почерневших от угольной пыли лицах горняков.

Пребывание в этом аду оплачивалось соответственно: в лаве шахтёры зарабатывали около пяти тысяч — колоссальная сумма по тем временам. Эта сумма складывалась из зарплаты, северных надбавок, дополнительных коэффициентов за стаж. Разумеется, такие заработки шахтёров абсолютно справедливы, ведь то и дело здесь случались аварии, происходили нештатные ситуации на грани жизни и смерти. Пока я работал, двух покойников мы на поверхность подняли.

Кроме профессии проходчика есть и ещё более рискованная работа — посадчик. После того как выработка на участке окончена, производят «посадку лавы». Посадчикам надо сделать так, чтобы потолок забоя сошёл с землёй, а для этого необходимо разрушить деревянный крепёж, выбить распорные стойки. Посадчики идут с длинными топорами и обрушают опоры. Ловкие ребята, шустрые: им нужно знать, куда ударить, с какой силой долбануть, чтобы можно было успеть отбежать, а то ведь замешкаешься — останешься похороненным в забое.

Пожили мы у сестры Жени дня три-четыре. Виктор мужик был тяжёлый, мрачный, хотя и не чуждый искусству —

обладал удивительно сильным, низким голосом, периодически демонстрировал его в подпитии, намекая таким образом, что в шахте он человек случайный, а правильное место для него — сцена Большого театра. И вот сел Виктор как-то напротив меня и говорит: «Чего ты с собой хвост привез? Ну ладно, ты родственник, мы тебя примем, а он-то зачем нам здесь?» На что я романтично воскликнул: «Как вы можете! Это мой друг!» И бросился к Коле: «Собирайся, уходим!»

Ушли мы с Колей к другой моей сестре Музе, у которой было двое детей и муж осетин. Прежде он служил в охране лагеря, имел офицерское звание, но когда лагерь закрыли, а персонал сократили, пошёл в шахтёры. Мужик был из особой породы профессионально не доверяющих окружающим, возможно, поэтому уже дня через три нам предложили съехать.

Ситуация усугублялась следующим обстоятельством: в наших с Колей паспортах не было выписки с предыдущего места жительства, а следовательно, мы не могли получить прописку в Воркуте и, соответственно, устроиться на работу.

Коля взялся решить проблему, выбрав противозаконный путь подделки документов. Он умудрился собственноручно вырезать некое подобие печати и в наших паспортах появился расплывчатый водянистый оттиск, который позволил устроиться на работу и получить общежитие.

Прежде чем съехать от сестры, мы с Колей решили отметить новый этап нашей жизни, выпили и дошли до того слащавого состояния, когда я взволнованно твердил, как он мне дорог, а он со всей душевностью рассуждал о нерушимости нашей дружбы. Сидим, выпиваем, дети Музины вокруг нас крутятся, и Коля зачем-то говорит им: «Передайте своей маме, что она блядь». Я ему говорю: «Да ты что, с ума сошел, Коля?» А он не унимается: «Скажите маме, что она...»

Вышел скандал, и эту историю вспоминали мне в последующие годы неоднократно. Естественно, о моём поведении, сомнительных друзьях и преступных наклонностях сообщили отцу, и вскорости от него пришло письмо: «Как

ты начинаешь самостоятельную жизнь? С подделки документов?»

В старом паспорте у меня ещё долго красовалась эта расплывчатая фальшивая печать от Коли Щербакова, напоминающая о воркутинском периоде жизни и прегрешениях молодости.

На работу мы устроились в службу внутришахтного транспорта. Вообще, процесс добычи угля требует постоянного перемещения оборудования, угля, породы, людей и по поверхности, и внутри выработки. По всей территории шахты проложены рельсы, всё это путевское хозяйство нужно обслуживать, и, хотя работа на внутришахтном транспорте едва ли не самая малопочтенная в горняцкой среде, она позволила нам получать полторы-две тысячи рублей в месяц — тоже неслыханный заработок, в Астрахани я и мечтать о таком бы не стал.

В общежитии комнаты были на четыре койки, но мы заметили и выбрали себе комнату на двоих, имеющую, правда, один существенный недостаток: располагалась она рядом с сортиром. Туалет представлял собой помещение без канализации, её заменяла дырка в полу. Дело было на втором этаже, и отходы человеческой жизнедеятельности без лишних ухищрений исчезали под воздействием земного притяжения. Звукоизоляцию в доме с дощатыми стенами назвать хорошей было бы преувеличением, поэтому наша жизнь в общежитии оказалась наполненной специфическими звуками и характерными запахами.

И тем не менее я убрался в комнате, кое-как наладил быт и в свободное время готовился к экзаменам, читал книги: набрал, помню, в библиотеке тома по философии — усиленно самообразовывался.

Уже началась зима, работа была, прямо скажем, нелёгкая. Вставали в шесть утра, заваривали чайку, завтракали, на шахту везли нас километров пять машиной с открытым кузовом. Там в наземном помещении мы полностью переодевались в казённое — бельё, робу. Получаешь каску и с аккумулятором для фонарика на боку идёшь к главному стволу,

а там тебя спускают в глубину километра на полтора, где и начинается, собственно, работа.

Так прошло несколько месяцев, и тут у меня возникла очень серьёзная проблема: Коля перестал ходить на работу, Коля стал «разлагаться». Так говорили в те времена о разгильдяях и нарушителях дисциплины.

Началось его «падение» с нашего похода в местный Дом культуры. Пошли мы туда, чтобы записаться в какой-нибудь кружок художественной самодеятельности. Моя персона не очень заинтересовала культработников — мне предложили хор, а вот за Колю схватились, потому что он играл на рояле. И богемная жизнь завертела Колю; боюсь, что одним из её проявлений стали даже наркотики.

Я продолжал ходить на работу, читал книжки, делал записи в дневнике, чем основательно раздражал товарища, да что там — просто бесил его своим примерным поведением. Максимальным пороком, который я мог себе позволить, были посиделки с соседями по общежитию — горными инженерами из Ленинграда. Вечерами мы собирались, разговаривали о судьбах мира, пили водку, пели под гитару — к тому времени я уже освоил несколько аккордов. Ещё, к Колиному неудовольствию, получил я со временем повышение по службе: меня перевели на должность подкатчика главного ствола, что было, безусловно, карьерным взлётом.

В шахте сложная система транспортных коммуникаций, перевозки грузов: по рельсам катятся тележки, что-то нужно поднять на поверхность, что-то опустить вниз. Вагонетки двигаются в разных направлениях, требуется сложная работа на каждом участке, серьёзные физические усилия, потому что большинство операций не механизированы.

Мы с напарником загружали в клеть (так в шахте лифт называется) вагонетки с углём. Они шли наверх, там опрокидывались и возвращались другим лифтом. Нам нужно было вытащить пустые вагонетки из клетки, собирать в колонну, за которой приходил электровоз, чтобы увезти состав в сторону лавы. И это конвейер: одну заталкиваешь,